Горький апельсин

Автор:
Клэр Фуллер

Горький апельсин

Клэр Фуллер

Новый американский владелец старинного английского поместья нанимает сорокалетнюю Фрэнсис Джеллико для составления описи садовой архитектуры. В поместье она знакомится с красивой и притягательной парой – Карой и Питером, которые быстро становятся ее лучшими друзьями. Почти все время они проводят втроем: обедают, доставая из погребов редкие вина, курят, слушают музыку, разговаривают о жизни. Они засиживаются допоздна, затем расходятся по своим комнатам, и Фрэнсис в случайно обнаруженный потайной глазок подглядывает за друзьями. Оказывается, все не совсем так, как ей рассказывают.

Или совсем не так…

Клэр Фуллер

Горький апельсин

Claire Fuller

Bitter Orange

© Claire Fuller 2018

© Sindbad Publishers Ltd., 2019

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2019

* * *

В память о Джойс Грабб (9 августа 1910 – 4 июля 2004) и Джойс Грабб (8 апреля 1907 – 26 июня 1982)

1

Видно, они думают, что мне уже недолго осталось. Потому что сегодня ко мне допустили викария. Может, они и правы. Хотя для меня сегодня ничем не отличается от вчера. И завтра, скорее всего, будет примерно таким же. Викарий – нет, не викарий, его называют как-то по-другому, я забыла, – порядочно старше меня. Волосы у него седые, а кожа красная, словно воспаленная, и шелушится. Я не просила, чтобы его привели. Если когда-то во мне и теплилась какая-то вера, в Линтонсе ее испытали и сочли недостаточной. А до тех пор посещение церкви было для меня привычкой, рутинным ритуалом, вокруг которого выстраивалась наша с матерью неделя. Сейчас я здесь, в этом месте, и я все знаю о рутине и привычке. Я знаю, что они управляют и нашей жизнью, и нашей смертью.

Викарий, или как там он называется, сидит у моей кровати с книгой на коленях. Но вряд ли читает: он слишком быстро перелистывает страницы. Видя, что я проснулась, он берет меня за руку. Я с удивлением обнаруживаю, что это утешает. Не помню, когда меня последний раз касались. Если не считать обтираний наскоро теплым влажным полотенцем или пробегающей по моим волосам расчески. Я имею в виду настоящее прикосновение. Когда оказываешься в чьих-то руках. Возможно, последним был Питер. Да, скорее всего, Питер. В августе ровно двадцать лет. Двадцать лет. Что еще делать здесь, в этом месте, кроме как отсчитывать время да вспоминать?

– Ну, как вы себя чувствуете, мисс Джеллико? – спрашивает викарий.

Не думаю, чтобы я сообщала ему свое имя. Я впитываю это «мисс», перекатываю его у себя в голове, словно серебряный шар для игры в багатель[1 - Багатель – старинная разновидность бильярда, где шар отскакивает от воткнутых в игровое поле булавок. – Здесь и далее прим. пер.], даю ему отскочить от одной булавки, от другой, пока он не упадет в центральную лузу: тогда звенит колокольчик. Я отлично понимаю, кто этот человек, от меня ускользает только его сан.

– Как по-вашему, куда я попаду? Потом, – выстреливаю я в него вопросом. Я старая пташка с характером. Хотя, может, не такая уж старая.

Он ерзает в кресле, словно у него зудит в штанах. Возможно, под одеждой его кожа тоже шелушится. Не хочу об этом думать.

– Ну, – начинает он, склоняясь над своей книгой, – это зависит… зависит от того, в чем вы…

– От того, в чем я?..

– От того, в чем вы…

То, где я потом окажусь, зависит от того, в чем я исповедуюсь, – вот что он хочет сказать. Рай или ад. Хотя вряд ли он верит, что эти места существуют на самом деле. Может, когда-то он в них и верил, но теперь – нет. И вообще, у нас с ним разные цели в этом разговоре. Я могла бы затянуть беседу, подразнить его. Но решаю пока отложить эту игру.

– Я имею в виду, – уточняю я, – где меня похоронят? Куда нас девают, когда мы в последний раз покидаем это место?

Он так и поникает от разочарования. Помолчав, спрашивает:

– Вы имеете в виду что-то конкретное? Я могу побеспокоиться, чтобы ваши пожелания передали куда следует. Хотите, чтобы я кому-то сообщил? Может быть, вы хотели бы, чтобы на службу пришли определенные люди?

Какое-то время я молчу, делая вид, что обдумываю его вопрос.

– Незачем нанимать толпу плакальщиков, – говорю я. – Вы, я да могильщик – этого будет достаточно.

На его лице появляется гримаса – смущения? неловкости? – потому что он понимает: я знаю, что он не настоящий викарий. Он нацепил высокий пасторский воротничок, чтобы ему разрешили посетить меня. Он и раньше просил, но я отказывала. Но теперь мы заговорили о могилах, и я думаю о телах – о тех, которые под землей, и о тех, которые над. Вот мы с Карой загораем на конце пирса на озере близ Линтонса. Она в бикини, я никогда раньше не видела так много чужой кожи сразу. Я рискнула поднять свою шерстяную юбку выше колен. Кара дотронулась кончиками пальцев до моего лица и говорит, что я красивая. Мне тогда было тридцать девять, и еще никто никогда мне не говорил, что я красивая. Потом, когда Кара складывала скатерть, на которой мы загорали, и убирала свои сигареты, я склонилась над зеленой водой озера и с разочарованием увидела, что мое отражение не изменилось, я осталась такой же. Но в те летние дни, двадцать лет назад, я верила ей. Правда, недолго.

Потом приходят новые картинки, вытесняя одна другую. Махнув рукой на хронологию, я отдаюсь волнам памяти, они наслаиваются, сливаются. Мой последний взгляд в иудин глазок: я стою на коленях, подо мной голые доски моей чердачной ванной комнатки в Линтонсе, один глаз прижат к торчащей из пола трубке с линзой, другой прикрыт рукой, чтобы не мешал смотреть. Внизу в постепенно розовеющей ванне лежит тело, открытые глаза уставились вверх, на меня, и не мигают. Лужицы воды на полу. Влажные следы ног, уходящих прочь, уже подсыхают. Я – вуайеристка, я человек, который стоит у оградительной ленты, натянутой полицейскими, и наблюдает, как рушится чья-то чужая жизнь. Я из тех, кто притормаживает у места аварии, но не останавливается. Я – преступник, возвращающийся на место преступления. Я – одинокий плакальщик.

Иудин глазок. Я не знала этого выражения, пока не очутилась тут, в этом месте.

Давно это было? Сколько времени прошло с тех пор?

«Сколько?..» Видимо, я задала этот вопрос вслух, потому что ответ дает кто-то из Помощников. Нет, не Помощников. Как ее называют? Сидельница? Помогательница? Моя изнуряющая болезнь выедает не только плоть, она

забирает все воспоминания о прошлой неделе, все имена и названия, про которые мне говорили час назад. Однако у нее хватает доброты оставить в неприкосновенности лето шестьдесят девятого.

– Сейчас одиннадцать сорок, – отвечает женщина.

Эта мне нравится. Кожа у нее цвета конского каштана, который я подобрала в конце сентября и обнаружила в кармане куртки в конце мая. Она добавляет погромче:

– Всего двадцать минут до обеда, миссис Джеллико.

Она произносит это так, словно я – какой-нибудь производитель пудингов: «Jelli Co.» «Пироги миссис Вагнер», «Кексы мистера Киплинга», а что остается делать миссис Джелли Ко? Вообще-то я никогда не была миссис Джеллико. Я не выходила замуж, и детей у меня нет. Только здесь, в этом месте, меня зовут «миссис». А вот викарий всегда обращается ко мне «мисс Джеллико», с самого первого раза, когда мы с ним встретились. Викарий! Тут я понимаю, что рука у меня пуста и что он ушел. Разве он прощался?

– Двадцать лет, – шепчу я.

Во мне шевелится воспоминание о том, как я впервые увидела Кару – бледную, длинноногую фею. Я слышу, как она кричит где-то снаружи, на каретном круге Линтонса. Перестав резать коврик в ванной, я пересекла узкий коридор и вошла в одну из пустых комнат напротив моей. Под чердачным окном выстланный свинцом желоб, идущий под углом к каменному парапету, забит гниющими листьями и оставшимися от древних голубиных гнезд прутиками и перьями. Далеко внизу на высохшем фонтане посреди каретного круга стояла Кара. Сначала я увидела ее волосы – темную массу плотных кудрей с пробором посередине, позволявшую разглядеть лишь узкую полоску молочно-белой кожи лица. Она что-то кричала по-итальянски. Я не понимала слов: из всего, что я знала, ближе всего к итальянскому были латинские названия растений, да и они сейчас почти выветрились у меня из памяти. Проверим-ка: Cedrus… Cedrus… Cedrus libani, кедр ливанский.

Голыми ступнями Кара балансировала на бедрах Купидона, уцепившись рукой за облачение каменной женщины, словно пытаясь сорвать с нее этот наряд. В

другой руке она держала пару плоских балетных туфель. Я поморщилась, представляя, какой ущерб она может нанести этому мрамору, и так уж испещренному отметинами и сколами. Я смутно надеялась, что фонтан мог быть изваян Кановой или кем-нибудь из его учеников, хотя и не успела как следует изучить эту штуку. На Каре было длинное трикотажное платье, и никакого бюстгальтера под ним – даже с такого расстояния я это ясно видела. Солнце уже почти ушло за дом, и на ее тело падала тень, но голову, когда она откинулась назад, чтобы взглянуть вверх, озарило ярким светом. Казалось, я уже знаю эту незнакомку: горячая и обидчивая, зачаровывающая. Цветущий кактус.

Я решила, что она кричит, обращаясь ко мне, к моему чердаку. Я никогда не любила громких звуков, резких слов, всегда предпочитала тишину библиотеки, и в ту пору я не могла припомнить, чтобы кто-нибудь повышал на меня голос, даже мать, хотя теперь-то, конечно, дело обстоит иначе. Но прежде чем я успела что-то ответить (хотя понятия не имею, что я могла бы сказать), поднялось окно в одной из просторных комнат внизу, и какой-то мужчина высунулся наружу по плечи.

– Кара! – окликнул он девушку в фонтане, тем самым сообщая мне ее имя. – Не глупи. Подожди.

Голос у него был измученный.

Она снова что-то закричала, яростно жестикулируя и стискивая пальцы, откинула обеими руками волосы за спину, где они не захотели оставаться, и спрыгнула с фонтана в высокую траву. Она всегда была гибкая и ловкая. Потом она прошла к дому и скрылась из виду. Мужчина исчез внутри, и я слышала, как он бежит по пустым комнатам Линтонса, порождающим гулкое эхо, и представляла себе, как, отмечая его путь, поднимается и оседает пыль в углах. Из своего окна я увидела его, выскочившего из парадной двери на каретный круг, и Кару, которая спешила трусцой, толкая перед собой велосипед по остаткам гравия, и на ходу надевала свои балетки. Добравшись до аллеи, она подобрала платье и оседлала велосипед, словно цирковой акробат скачущую лошадь: в ту пору я бы ничего такого не смогла, а теперь и подавно.

– Кара! – позвал мужчина. – Пожалуйста, не уезжай.

Мы – он и я – смотрели, как она катит, ловко огибая выбоины на липовой аллее. Уносясь от нас, она оторвала одну руку от руля и в ответ выставила два пальца. Сейчас, после всего, что случилось, трудно вспомнить, что именно чувствовала я во время этих промельков Кары. Вероятно, меня шокировал ее жест, но мне нравится думать, что при этом во мне бродило приятное ожидание моего собственного нового открытия себя, новых возможностей – и лета.

Мужчина прошел к восьмифутовой высоты воротам, проржавевшим и вечно открытым, и ударил ладонями по надписи «Линтонс 1806», вплетенной в их металлическую вязь. Его досада меня заинтриговала. Чему я стала свидетелем – окончанию их романа или простой размолвке влюбленных?

Я прикинула: мужчина примерно моего возраста, лет на десять старше Кары. Светлые волосы свешивались ему на лоб. Он двигался так, словно не мог вынести силы земного тяготения – или самого мира. Симпатичный, подумала я, хотя и потрепанный. Он сунул руки в карманы джинсов и, повернувшись к дому, посмотрел вверх, прямо на мое окно. Я имела полное право находиться там, где находилась, но, сама не зная почему, отпрянула от окна и присела под подоконником.

* * *

Линтонс. Даже когда одно это слово возникает в голове у меня, на руках тут же поднимаются волоски – я словно кошка, увидевшая привидение. Но Палатная Сестра… нет, не то… новая белая женщина, которую я не узнаю, в белом пластиковом фартуке поверх формы замечает мой открытый рот и видит возможность запихнуть в него ложку разварившейся брокколи. Я плотно сжимаю губы, поворачиваю голову и позволяю явиться другому воспоминанию, более раннему.

Рукописная схема мистера Либермана: мешанина названий, стрелок, проселочных дорог. Английский ярмарочный городок, церковка, решетчатая ограда, чтобы скот не забредал куда не положено. С трудом выйдя из автобуса на остановке перед городком, я прошла назад, к узкой дороге, посреди которой росли пучки травы. На своем листке мистер Либерман написал: «Остановитесь здесь и полюбуйтесь видом» – рядом с безымянной дорогой, которая начиналась – как я теперь видела – у заброшенной сторожки. Правда, позже я узнала, что сам он никогда не бывал в Линтонсе. Вероятно, он предполагал, что я буду за

рулем, но у меня не было прав, я никогда не училась водить и никогда не водила. Я опустила на землю оба чемодана и подумала, не оставить ли их под живой изгородью, чтобы потом за ними вернуться. В плаще мне было жарко: я решила, что легче носить его на себе, чем нести его с собой. Стараясь перевести дух, я прислонилась к погнутой ограде поместья.

В миле от меня, за вымахавшими насаждениями парковой зоны, на краю зеленого берега балансировал дом – Линтонс. Он простирался в тенистую глубину, но мне открывался вид на широкие каменные ступени, ведущие к величественному портику, где дневное солнце маслянисто блестело на восьми огромных колоннах, враставших в треугольный фронтон. Передо мной предстал английский родич Парфенона. Слева солнце отражалось от стекол теплицы, обещанной письмом мистера Либермана, а позади строений земля резко поднималась, образуя лесистые уступы. В этой части страны нередко встречается такой рельеф: древний лес цепляется за крутые склоны холмов, извивающиеся на протяжении нескольких миль. Поблизости журчал ручей, бегущий через заливные луга, все в оспинах следов от коровьих копыт, исчезая между нестрижеными кустами и косматыми деревьями. Я заметила блеснувшее озеро и представила себе, не видя, то место, где воду должен пересекать мост. Меня приятно возбуждала мысль о том, какой это может быть мост, учитывая возраст и стиль первоначально выстроенного здесь дома и то, что я об этом доме читала. Но я никому об этом не говорила. Меня никто бы не стал слушать – во всяком случае, тогда.

* * *

Лежа в своей постели здесь, в этом месте, я думаю о мостах, о переправе с одного берега на другой, о паромщике, и задаюсь вопросом, будет ли у меня какое-то предвестие смерти, какая-то примета, какой-то знак. По-моему, у всех оно бывает: птица, залетевшая в комнату, лисица на цепи, осторожный заяц, корова, рожающая двух телят, – но лишь самые невезучие понимают, что это означает.

Еще одна Медицинская Помогательница, дружелюбная прыщавая девушка – Сара? Ребекка? – расчесывает мне волосы. Она моложе других и вряд ли задержится здесь надолго. Но она обращается со мной мягко и, в отличие от большинства, обходится без бессмысленной болтовни. Когда остается сделать всего несколько движений расческой, она подносит к моему лицу зеркало, и я

снова поражаюсь при виде этой женщины, которая смотрит на меня оттуда: впалые щеки, кожа – словно пергамент в пятнах от чая, иссохшая шея. Рот зеркальной женщины открывается, и я вижу бледные десны, в которых торчат кое-как желтые лошадиные зубы, и я отдергиваю голову, машу руками, зеркало резко уходит в сторону. Девушка держит его слабо, а может, не ожидает от меня особой силы, поэтому от неожиданности выпускает зеркало. Оно ударяется о край кровати. Но, конечно, не разбивается, а летит, вертясь, через всю комнату. Девушка просит меня не двигаться, успокоиться, лечь, но теперь в ней уже нет прежней мягкости. Подо мной растекается теплая влажная лужа, и девушка нажимает на кнопку вызова, и я слышу, как в коридоре скрипят по линолеуму резиновые туфли. Руку пронизывает острая боль. И я снова на чердаке в Линтонсе.

* * *

Я на чердаке в Линтонсе. Когда становится ясно, что мужчина ушел обратно в дом, я заканчиваю кромсать середину коврика в ванной своим ножом для ботанических образцов. Это был прекрасный нож, его изогнутая рукоятка отлично подходила к форме моей ладони, а лезвие было широким и коротким, и мне нравилось следить, чтобы оно всегда сохраняло остроту. Не знаю, где этот нож теперь.

Схватившись пальцами за край рядом с плинтусом в углу под окном, я несколько раз сильно потянула, так что коврик лопнул, породив целое облако пыли и опрокинув меня с корточек. На моем лице и волосах оседают чешуйки чужой кожи, частицы высохших насекомых, штукатурка из трещин в потолке.

На коврике были узоры – светло-коричневые квадраты, красноватые круги. По краям он посерел от пыли, а возле унитаза окрасился в ядовито-желтый. Я тянула, загибала, скручивала две половинки к середине комнаты, обнажая половицы. Ванная была большая – три шага от ванны до раковины и столько же от окна до унитаза. Когда-то она, видимо, служила спальней для горничных. Из центра низкого потолка свешивался пыльный абажур на грубом шнуре. Условия кошмарные, но мне плевать: эта ванная и примыкающая к ней спальня – мои. По крайней мере, на лето.

Тут постучали в дверь, ведущую на чердак. Эта дверь – в конце коридора. Я замерла на четвереньках, надеясь, что если достаточно долго не двигаться, то

стучавший уйдет. Иногда, в прошлом, мне очень хотелось общества, но теперь, когда ко мне в буквальном смысле кто-то постучался, я перестала ясно соображать и где-то в горле у меня забился сигнал тревоги от одной мысли о том, чтобы заговорить с незнакомым человеком. Снова раздался стук. И пока я поднималась, опираясь о край ванны, я слышала, как открывается дверь, а потом увидела, что мужчина, который бежал за Карой, стоит в дверном проеме ванной, слегка задыхаясь от подъема по винтовой лестнице.

Он внимательно разглядывал меня, и я вдруг поняла, что в руке у меня нож для сбора ботанических образцов, а шелковый шарф матери по-прежнему прикрывает нижнюю часть моего лица: я им обвязалась, чтобы в рот не попадала пыль.

– Привет? – произнес он с вопросительной интонацией, делая шаг назад. Вблизи он показался мне печальнее и привлекательнее, и морщины на его лице словно разгладились.

Я опустила свою повязку, переложила нож из одной руки в другую и обратно, толком не понимая, что с ним делать.

– Извините, – пробормотала я, потому что знала: от меня ждут этого слова.

– Видимо, вы – Фрэнсис? – Он протянул руку. Наверное, ему казалось, что я смущаюсь и чувствую себя неловко, потому что он добавил, словно я сама могла об этом забыть: – Вы сюда приехали изучать садовую архитектуру для Либермана?

Я не сразу пожала протянутую руку. Она была сухая и такая же большая, как моя. И быстро выпустила ее.

– Питер, – представился он. – Очень жаль, что меня тут не было, когда вы появились. Но вы, судя по всему, уже освоились?

Он улыбнулся, даже чуть ли не рассмеялся, посмотрев на нож у меня в руке. Я встретилась с ним глазами и тут же перевела взгляд на его губы, слишком полные для мужчины. Из-за его привлекательности я ощущала себя еще более неуклюжей.

В одном из своих писем мистер Либерман объяснял, что пригласил еще одного специалиста – чтобы тот сообщал ему о состоянии дома и его обстановки. Я ожидала увидеть здесь кого-то вроде Питера, но совершенно о нем не думала, а если и думала, то представляла себе пожилого одинокого человека.

– Извините, – повторила я, пряча нож за своими шортами, широкими мужскими шортами из магазина «Армия и флот». – Я резала ковер.

Я успела убедиться, что извинения и констатация очевидного помогают, когда не знаешь, что сказать.

– Не видел вашей машины. – Когда Питер говорил, беспрерывно жестикулировал, помогая руками своим словам.

– Я ехала на поезде, – ответила я. – И потом на автобусе. Тридцать девятом. Он опоздал на двадцать восемь минут.

По выражению его лица я заключила, что сказала слишком много и что, возможно, это прозвучало грубо. Так трудно было делать это правильно. Другим как-то удавалось без всяких усилий вести разговоры: сначала один подает реплику, потом другой – и так далее. Я в который раз задумалась о том, как же это у них получается.

– Вам надо было дать телеграмму, – заметил Питер. – Я бы с радостью встретил вас на станции. – Он посмотрел мимо меня в ванную и продолжал: – И простите, что вам пришлось все это слышать. Если Кара не в настроении, об этом знают все. Но вы не должны беспокоиться.

Я и не беспокоилась. Но тут невольно задалась вопросом: может, мне стоило бы?

– Скорее всего, она поехала в город. Но она всегда возвращается. – Он снова рассмеялся. Казалось, он сам себя успокаивает. – Ну а вы чем тут занимаетесь? – Все эти комнаты на чердаке, – он сделал жест руками, – в довольно неприглядном виде. Думаю, тут раньше жил старый слуга – нянька или дворецкий. Никто здесь не убирался. Вы бы видели, какой беспорядок оставили после себя военные. Не говоря уж про граффити, вы таких и представить не можете.

Он прошел в ванную, разглядывая ее без всяких признаков смущения.

– Военные? – переспросила я. Я знала все способы, как добиться, чтобы собеседник продолжал говорить.

– В свое время Линтонс реквизировали для нужд армии. Сорок седьмой пехотный полк. Американцы. Судя по всему, в голубой гостиной Черчилль с Эйзенхауэром обсуждали высадку в Европе. В саду они устроили просто бог знает что. Я имею в виду – солдаты, а не Черчилль с Эйзенхауэром, хотя тут ни за что нельзя поручиться. В общем, будьте готовы. Либерман хотел предложить вам комнаты внизу. Они больше и роскошнее, и я надеялся, что мы с Карой поживем в городе, но, знаете… мои обстоятельства изменились… – Он улыбнулся. Мне нравилось, что он так много говорит: это означало, что мне говорить не нужно. – Нормально работает только эта ванная и наша, внизу. Надеюсь, вы не очень против чердака.

Я увидела, что он смотрит на две скрученные половинки коврика.

– Тут пахло, – сообщила я.

К своему последнему письму мистер Либерман приложил ключ от боковой двери и, в придачу к схеме маршрута, инструкции, как пройти наверх, в чердачные помещения. Когда я в первый раз поднялась по винтовой лестнице и открыла дверь наверху, вонь так и ударила в лицо: напоминание о тех нескольких последних днях, когда я ухаживала за матерью. Смесь запахов вареных овощей, мочи и страха.

– Я думала, мистер Либерман не будет возражать, если я сниму коврик.

– О, он не будет возражать. – Питер пренебрежительно махнул рукой и прошел к окну, не переставая говорить. – Либерман понятия не имеет, что в доме есть и чего нет. Он прислал мне опись, но она ничему не соответствует. В голубой гостиной по ней значится каминная облицовка работы Уайетта[2 - Имеется в виду Джеймс Уайетт (1746–1813) – английский архитектор, работавший в стиле неоклассицизма и неоготики.], но там и камина-то нет, одна зияющая дыра. Парадная лестница должна быть облицована настоящим мрамором, но это явно скальол[3 - Скальол – искусственный мрамор.]. И теперь, когда над всем этим потрудились сырость и плесень, уже бессмысленно пытаться что-то спасать. Но

тут есть свои достоинства: купол совершенно великолепный, а в подвале я нашел десятки бутылок вина, которых нет в описи. – Подмигнув, он наклонился, уперся ладонями в колени и посмотрел в низкое окошко. – Причем, вероятно, все они закупорены. Эту опись словно составили для какого-то другого дома. Я думал, Либерман приезжал сюда, прежде чем купить Линтонс, но теперь сомневаюсь. Вы нашли постель, которую мы вам устроили? – Он не стал дожидаться ответа. – Вот это вид.

Мои две комнатки располагались на западной стороне дома, под самой крышей с ее каминными трубами. На том же этаже размещалось около дюжины комнат, двери которых выходили в коридор, который тянулся с севера на юг. Из всех окон, смотревших на запад, открывался роскошный вид на загубленные сады Линтонса, на тропинки, таящиеся среди буйно разросшихся самшита и тиса, на переплетенные запущенные кусты садовых роз, на упавшие статуи и испоганенные клумбы, на парк с лугом, на усыпальницу, а вдали виднелась темная линия деревьев и лесистые уступы.

– Вы уже обошли поместье? – поинтересовалась я. – А на мосту были?

Мне хотелось, чтобы он ответил «нет». Тогда то, что там (чем бы оно ни было), я смогу открыть сама, одна. При этом я надеялась, что он скажет: да, он видел мост, и тот сделан в палладианском стиле[4 - Итальянский архитектор Андреа Палладио (1508–1580) прославился благодаря умению сочетать красоту с практичностью (и относительной дешевизной материалов). Оказал большое влияние на европейскую архитектуру XVI–XVIII вв.], – чтобы я больше не готовилась испытать разочарование.

Палладианский мост: утонченная архитектура меж двух берегов. Чаще всего такую конструкцию венчает храм: каменные балюстрады и колонны, фронтоны и колоннады под свинцовой крышей, потолки с кессонами[5 - Кессон – художественно оформленное углубление правильной геометрической формы на потолках, а также на внутренних поверхностях арок и сводов, облегчающее их и улучшающее акустику помещений.], статуи. Охлаждаемый водой летний домик, открытый с обоих торцов и выстроенный богачами для того, чтобы прогуливаться, проходя его насквозь, или проезжать через него в экипаже. Мост, который я себе воображала, поднимался над озером, пересекая его пятью изящными арками, а на балюстрадах вырастал захватывающий дух открытый храм. Все сооружение виделось исполненным приятной симметрии, и замковые камни при этом были украшены тонкой и изысканной резьбой. Не просто мост,

не просто средство перебраться с одного берега на другой, а нечто выстроенное ради любви, ради тайных свиданий, ради красоты.

Питер выпрямился.

– Ах да, там же есть мост? Я все собираюсь спуститься к озеру поплавать, но столько дел в доме, да тут еще Кара и винный погреб. – Он пнул ногой свернутую половину ковра и засмеялся: – Хотите избавиться от парочки трупов, да?

2

Когда я просыпаюсь, рядом никого нет. В животе у меня бурчит, и я уверена, что пропустила обед или завтрак, а может, и то и другое. Но больше всего мне нужен глоток воды. Мне оставили стакан на столике рядом с кроватью, но я могу только скосить на него глаза. Мои руки и ноги больше не подчиняются командам сознания. Те, кто здесь работает, поменяли мне простыни и ночную рубашку, и я со стыдом думаю, как они касались моего больного тела, этих розовых и бурых пятен, этих увядших мышц. От кого-то когда-то я слышала, что с годами тебе становится уютнее в собственной коже, ты снисходительнее относишься ко всем своим складкам и морщинам. Но это не так. Раньше я была крупной женщиной, «пышнотелой», как заметил однажды Питер. А сейчас вся эта плоть растаяла, но кожа осталась, и вот я лежу в ней, словно в луже самой себя. Закрыв глаза, я поворачиваю голову к окну. Сквозь веки светит ярко-алое. Я возвращаюсь.

* * *

Золотисто-зеленый свет: день только начинается. Я снова в своей ванной на чердаке. В Линтонсе моих воспоминаний всегда сияет солнце: иногда случалось упасть нескольким каплям дождя и раскатиться грому, но ничего большего. Это мое первое утро здесь, и я собираюсь на озеро. Но сначала я как следует отскребла ванну, раковину и унитаз, вымела волосы, оставшиеся после того, как я содрала куски ковра; их я еще раньше стащила вниз по лестнице, вынесла наружу и закинула на кучу мусора, которую унюхала позади конюшни. Я надела материнские серьги от Хэтти Карнеги[6 - Хэтти Карнеги (1886–1956) –

американский модельер. В основном занималась организацией бизнеса в области моды (не умея ни кроить, ни рисовать модели). В 1950 году разработала дизайн женской формы для армии США. Ее работы называли «воплощением типично американского стиля».] и убедилась, что цепочка с материнским медальоном у меня на шее. Может, это и странно – наряжаться на прогулку, но мне нравилось носить эти вещи, чтобы вспоминать о матери, чтобы при случае поднести руку к уху или к шее – и снова услышать ее голос и увидеть полный любви взгляд, которым она смотрела на меня до того, как ушел отец.

Когда я перевязывала шнурок, одна из материнских сережек выпала из мочки, словно мы, все трое – я, мать и сережка, – знали, что эти украшения мне не идут. Мелкие кусочки горного хрусталя вокруг зеленого пекинского стекла, штучка, сделанная для обладательницы более миниатюрных ушей. Сережка поскакала по полу ванной, и я погналась за ней, но она блестящей мышкой исчезла в щели между досками. Сняв другую сережку, я положила ее на полку рядом с пудрой и сунула пальцы в дырку, протискивая их все дальше, пока костяшки не застряли. Внутри я чувствовала лишь теплый воздух. Но доска оказалась расшатана и теперь свободно гуляла среди своих соседок. Я подцепила ее пальцами и удивилась, когда она поднялась, явив проходящие внизу балки. В широких проемах между ними обнаружилась масса когда-то потерянных вещей – словно остатки микроскопического кораблекрушения вынесло на темный песок морского берега: булавки, ржавое бритвенное лезвие, пуговица, две заколки, несколько грязных бусин от порванного ожерелья – и моя сережка. Она притаилась рядом с металлической трубочкой диаметром с толстую сигару, видневшейся из-под слоя пыли. Я попыталась ее вытащить, но оказалось, что она прочно прикреплена к чему-то. От моих усилий она повернулась, приняв вертикальное положение: маленький телескоп. Лизнув палец, я очистила на верхнем конце то, что казалось мне стеклянным диском, а потом наклонилась к трубке, чтобы посмотреть в нее.

Мне открылся вид сверху на другую ванную комнату, более просторную и величественную, чем моя. Ванна на львиных лапах со шторкой из деревянных планок и узорчатая раковина. Все это – искривленное, слегка скрученное, потому что линза искажала вид. Дверь была открыта, и желтый язык утреннего солнца из соседней комнаты лизал пол. На заднем краю раковины лежал на фарфоровой тарелочке свежий кусок мыла, а рядом, на столике, в беспорядке теснились какие-то баночки, бутылочки с духами, зубные щетки. Тут дверь открылась шире, и вошел мужчина. Лишь когда он остановился перед унитазом, я поняла, что это Питер. Я отшатнулась назад, прикрыв ладонью окуляр, и безмолвно застыла, словно вошедший мог в любой момент взглянуть вверх и

обнаружить меня. Я вспомнила, как он говорил, что эти комнаты внизу собирались предоставить мне, и теперь была рада, что мне досталась пара бывших помещений для слуг и армейская койка с тоненьким матрасом.

Я сохраняла неподвижность, пока не услышала, как в унитазе спускают воду. Только тогда я вернула трубку в горизонтальное положение и вставила доску на место.

* * *

Мистер Либерман и мне прислал что-то вроде инвентарной описи, приложив отдельную страницу со схемой маршрута и ключом. Этот листок он явно выдрал из описания Линтонса, сделанного для продажи:

Неоклассический особняк с вестибюлем, музыкальной комнатой, малой и большой гостиной, оружейной, обеденным залом, курительной, бильярдной, салоном, десятью спальнями и гардеробными, пятью ванными, помещениями для прислуги. Расположен в парке на 764 акра с великолепными деревьями, декоративным озером, фонтаном, цветником, огородом (обнесенным стеной), классическим мостом, оранжереей примечательной конструкции, конюшнями, образцовой молочной фермой, ледником, гротом, усыпальницей, всевозможными причудливыми сооружениями (в числе которых – обелиск) и т. п., а также со множеством хозяйственных и иных построек. Все в той или иной мере требует ремонта.

Мистер Либерман сделал на этом листке пометки карандашом: слово «фонтан» он обвел, а слова «классический мост» подчеркнул трижды.

Я получила его первое письмо, с американской маркой и американским же штемпелем, через месяц после того, как похоронили мать. Совпадение, но удачное. С ее смертью отец перестал платить алименты, и, хотя мать завещала мне все, что у нее было, от этих денег осталось неожиданно мало после того, как я оплатила похороны и разобралась с другими счетами. Квартира в лондонском доме, где мы жили, была съемной.

Мне казалось, что будет очень интересно – впервые за тридцать девять лет не знать, куда я отправлюсь и что буду делать. У нас с матерью выработался привычный распорядок, от которого мы никогда не отступали, и я представляла себе, что стану свободной, получив возможность есть когда хочу, укладываться спать когда хочу, делать что хочу. Я верила, что это меня преобразит. Я десять лет готовилась к смерти матери: всякий раз, возвращаясь из магазинов или библиотеки, я отпирала входную дверь, не зная, что найду внутри. После того как ее не стало, я тоже была готова покинуть этот дом. Мне хотелось избавиться от воспоминаний об этих годах, от воспоминаний, впитавшихся во все здешние предметы: в кресло, откуда она наблюдала за дорогой, ожидая моего возвращения; стол, за которым она регулярно писала моему отцу, прося больше денег; кровать, где я ухаживала за ней и где она умерла. Эта кровать продолжала хранить ее запах, даже когда я сняла простыни, и заставляла меня плакать.

Я поступила безжалостно. Я пригласила местного торговца антиквариатом и предложила ему купить все, что пожелает. Он мычал, недовольно хмыкал и качал головой, пока я водила его по комнатам. Мебель, заявил он, слишком темная и массивная, да и спрос на все эти старомодные викторианские вещи в последнее время почти сошел на нет. Тем не менее он забрал все, в том числе ее старые наряды (когда-то очень модные, сделанные на заказ): он набил их в коробки и сказал, что надеется отыскать для них новый дом. За все вместе он заплатил меньше, чем стоило когда-то одно только платье. Я это знала, но мне хотелось избавиться ото всего. Он оставил ее нижнее белье, пару дешевых ювелирных украшений и единственное вечернее платье, которое я решила сохранить для себя. Я не думала о будущем – во всяком случае, тогда. Я не сомневалась: что-нибудь да подвернется. И я не ошиблась.

За несколько месяцев до этого в «Журнале Общества любителей садовых древностей» напечатали мою статью о палладианских мостах в Стоу и в Прайор-парке. В предыдущие годы они уже публиковали кое-какие мои материалы, хотя и не платя никаких гонораров, потому что это было довольно малоизвестное издание, которое, как мне казалось, читают от силы полдюжины ученых – и больше никто.

Но все-таки, по-видимому, аудитория журнала оказалась несколько шире, потому что однажды я получила пересланное мне через редакцию письмо некоего мистера Либермана, который сообщал, что купил английский загородный дом с прилегающими к нему садами:

Дорогая миссис Джеллико, поскольку Вы являетесь специалистом по мостам и садово-парковой архитектуре в целом, я хотел бы поинтересоваться, не будет ли Вам любопытно посетить недавно приобретенное мною английское загородное поместье и не согласитесь ли Вы дать мне его профессиональную оценку…

Так начиналось его послание. Я бы не стала называть себя специалистом: я всему училась самостоятельно, если не считать одного года в Оксфорде. Все свободное время я проводила в библиотеке Британского музея, сидя в своем привычном кресле, читая, делая выписки и готовя небольшие исторические статьи – для собственного удовольствия. И я никогда не посещала никакие исторические места за пределами Лондона – во всяком случае, после ухода отца.

В тот же день я ответила мистеру Либерману, что принимаю его предложение. Меня привлекали и комиссионные, и шанс вырваться из большого города, но главное – возможность лично изучить самый настоящий классический мост. Я толком не спала, пока не получила его ответ. Мы условились об оплате и о том, где я остановлюсь в доме. Я согласилась к концу августа прислать ему отчет обо всех садовых объектах, представляющих интерес с точки зрения архитектуры.

Свою последнюю лондонскую неделю я провела в пансионе возле Кингс-Кросс. В один чемодан я сложила одежду, в другой – книги и то, что осталось от вещей матери. Ночами я не спала, слушая, как приходят и уходят девушки-постоялицы, а днем сидела в своем кресле в библиотеке Британского музея, читая о Линтонсе все, что могла отыскать. В Певзнере[7 - Имеется в виду многотомная серия «Здания Англии», начатая в 1940-е годы британским историком и искусствоведом Николаусом Певзнером (1902–1983) и позже названная «Архитектурным путеводителем Певзнера».] ему уделялось всего полторы страницы: отмечалась помпезность главного портика и с характерным пренебрежением (которое я успела полюбить, работая с этим многотомником) сообщалось, что парадная лестница «не представляет интереса». Перечислялись причудливые садовые постройки и оранжерея, но о мосте не было сказано ни слова. Упоминалась также церковь при поместье, но ее внутреннее убранство «разочаровывало», а скульптуры были названы «излишне сентиментальными». Тем не менее я все-таки выяснила из того же тома, что нынешний неоклассический дом был выстроен в начале XIX века на основе более раннего, кирпичного. Я заказала соответствующие номера «Сельской жизни», однако не нашла в них ничего неожиданного – лишь несколько унылых фотографий

каминной облицовки, портика и озера. В одной из статей мне встретилось упоминание об альбоме рисунков, и это в конечном счете привело меня к дневнику женщины, жившей в Линтонсе летом 1755 года. Она пространно повествовала о том, какого жесткого фазана подали на обед, и о том, как холодно в ее неприглядной комнате и как она пыталась дозваться слуг, чтобы те разожгли камин, но не получила никакого ответа. Среди прочего она писала о классическом мосте с его «чудеснейшими арками» над водной гладью.

* * *

В то первое утро я, выскользнув через боковую дверь, обогнув фасад дома, пройдя под огромными колоннами портика и затем спустившись по широким ступеням, отправилась к озеру. Когда-то здесь разбили сад в классическом стиле, с четко упорядоченными насаждениями и живыми изгородями, но теперь он разросся, поглотив нижние ступеньки, и побеги ежевики пробились сквозь растрескавшийся камень. Валериана и иван-чай повсюду распространились самосевом, за ногастой сиренью с побуревшими цветами явно никто не ухаживал, а разбушевавшаяся жимолость (Lonicera), карабкаясь вверх, перещеголяла вьюнок (Convolvulus). Когда-то, наверное, озеро и мост можно было увидеть и из дома, но теперь мне пришлось срезать прут, чтобы расчищать себе путь через эти заросли, следуя очертаниям тропинки, по краям которой наросло крапивы. Тропинка вела к задушенным плющом ниссеновским баракам[8 - Ниссеновский барак (по имени автора конструкции – подполковника П. Ниссена) – легкое разборное сводчатое сооружение из гофрированного железа. Во время Первой мировой войны такие бараки использовались в качестве временной армейской казармы или хозяйственной постройки.] со сводчатыми крышами. Я заглянула в выбитые окна: по запаху и характерному мусору было очевидно, что в недавнем времени их использовали в качестве курятников.

Пройдя между гигантскими рододендронами по обе стороны стертых каменных ступеней, розоватых от упавших и поблекших цветков, я невольно представляла себе то, что могу обнаружить впереди: палладианский мост, еще даже более изящный, чем в Уилтоне или в Прайор-парке, более широкий, чем в Стоу, и, в отличие от стоурхедского, мой будет с храмом. Видите? Я уже называла его моим. Мне хотелось, чтобы это было мое собственное открытие, и я совершенно не думала о мистере Либермане – по крайней мере, тогда. Я мечтала, как напишу статью, которую напечатают не в журнале общества любителей того или сего, а в «Таймс».

Я вышла из зарослей ниже по течению, где в земле когда-то выкопали широкий бассейн, замедлявший воду и создававший у владельцев поместья и у их гостей впечатление, что перед ними озеро, а не просто ручей, перекрытый хитроумной плотиной. Справа от меня изгибалась излучина, и водная гладь пропадала из виду. Когда я вышла на берег, целая стая уток, точно живой плот, поднялась с зеленой воды, хлопая крыльями и крякая. Я повернула налево, пробралась сквозь полосу спутанных деревцов. В земле остались колеи от давних танковых маневров, но ее уже колонизировали травы и папоротники. Озеро подмигивало мне из-за деревьев.

Еще через несколько ярдов я впервые без всяких помех увидела мост в верхней части озера. Он оказался не таким, как мне мечталось. Никакого храма, только очередные косматые кусты и заросли, подступающие к нему по обоим берегам. Арки имелись, но я не углядела в них ничего чудеснейшего. Я уже подумывала развернуться, но решила все-таки постоять на нем, чтобы уж считать дело сделанным. К мосту и через мост вела узенькая оленья тропа, и я двинулась по ней, ударяя своим прутом по побегам ежевики, норовящим уцепиться за мою одежду и кожу, и сбивая ягоды. На восточной стороне течение было ленивое: его замедлял всякий сор, прибившийся к камням, – ветки, листья и какая-то белая вспенившаяся дрянь. Место было сырое и безрадостное, но, когда я развернулась и посмотрела на само озеро, оказалось, что вода в нем чистейшая и ее неподвижная поверхность в центре ловила солнце и небо и бросала их мне прямо в глаза.

Я перешла мост и двинулась вдоль противоположного берега, подныривая под низкими ветками и время от времени прибегая к помощи своего прута. Так я добралась до дальнего конца озера, где оно снова сужалось в ручей, и пересекла скользкую плотину над небольшим рукотворным каскадом. Я сидела там, пока солнце поднималось все выше, и пыталась зарисовать мост и озеро в своем альбоме для набросков. Я привыкла быть одна, привыкла почти всегда оставаться довольной своим одиночеством даже среди лондонской уличной толпы, но здесь, близ линтонсского озера, я ясно осознавала присутствие пары, живущей в доме, и поймала себя на мысли: интересно, что это за люди?

* * *

Позже я обошла остальное поместье со всеми его причудами и осмотрела некоторые из построек: обелиск, усыпальницу, грот, огород, молочную ферму. Я

сунула нос в заплесневелые кладовые, в ледник, в конюшни. Какие-то невидимые существа разбегались от света и от моих тяжелых шагов. Остаток утра я просидела на маленькой кровати у себя в комнате, с бумагами на коленях, с книгами, разбросанными вокруг на полу (стола или кресла не нашлось): писала заметки, перерисовывала наброски, составляла карту поместья, отмечая расположение всех его сооружений по отношению к дому.

Я выстирала нижнее белье и чулки в раковине ванной комнаты при помощи куска мыла, который там валялся, – потрескавшегося, давно утратившего свой аромат. Потом повесила все это сушиться на бечевке, протянутой над ванной. Под вечер я согрела половину консервной банки сардин в томатном соусе на плитке, которую поставили в моей комнате, заодно снабдив меня кое-какими столовыми приборами. Я положила один чемодан на другой, накрыла конструкцию запасной наволочкой и расставила на ней нож, вилку и тарелку. Сидя, скрючившись, на полу перед этим импровизированным столом, я съела свой обед.

Помыв посуду в раковине ванной и все убрав, я вернулась к работе. Когда я наконец подняла глаза, комнату наполнял абрикосовый свет заходящего солнца. Я встала и потянулась, выгнув спину и повертев туда-сюда головой. Присев на корточки у открытого окна, я разглядывала поместье, пытаясь представить, как оно могло выглядеть, когда все это еще только устраивали: далекие поля – зеленые, непаханые; дубы и кедры с нетронутыми ветвями, внизу у стволов никакой крапивы. В то время как из всех окон открывался вид на идеализированный английский пейзаж, просторно раскинувшийся и обрамленный темными лесистыми уступами.

Снизу донесся запах готовки – чеснока, жарящегося в сливочном масле, и чего-то мясного. В животе у меня заурчало, и я поняла, что полубанки сардин явно недостаточно для обеда. Я высунулась из окна, чтобы как следует вдохнуть аромат, и, глянув вниз, увидела чью-то ногу на подоконнике под моим; прежде чем отпрянуть назад, я успела разглядеть грубые пальцы с ногтями недавно покрытыми зеленым лаком. Надо же: вот как знакомишься с соседями.

На ужин я прикончила горбушку привезенного с собой хлеба и еще одну жестянку сардин. Завтра придется сходить в город, если я захочу есть.

Воздух на чердаке был сыроватый даже с открытым окном. Лежа под простыней в ночной рубашке, я раздумывала, кто мог жить до меня в этой комнате и кто

спал в соседней до того, как ее превратили в ванную. Кто вмонтировал в пол эту трубку для подсматривания – любопытный слуга, которому хотелось понаблюдать за своей хозяйкой, или сынок-выродженец, решивший, что забавно будет иногда пялиться на гостей семейства? Воображение рисовало мне классическую героиню – безумицу, запертую на чердаке, – и то, как она смотрит в глазок на жизнь, протекающую внизу. И вдруг я услышала крик, женский голос – голос Кары. Я села в кровати. В комнатах подо мной зажгли свет: его отблески виднелись в моем окне. Я высунулась наружу: в ванной Кары и Питера свет тоже был включен. Она кричала по-итальянски, словно выплевывая слова. Питер отвечал громко, но спокойно:

– Ну пожалуйста, Кара. Уже поздно. Не будем сейчас это затевать.

В ответ она что-то воскликнула. Иностранные слова уносились в ночь.

– Пожалуйста, по-английски, – попросил Питер.

Кара заверещала, точно зверек, попавший в ловушку. Раздался грохот – разбилось то ли стекло, то ли тарелка. Я тут же втянула голову, словно опасаясь, что соседка вот-вот на меня нападет. Хлопнула дверь, ответно задрожала моя оконная рама, и где-то внизу Кара начала теперь всхлипывать, по-прежнему что-то крича в паузах между иканьями, пытаясь перевести дух и лопоча какую-то бессмыслицу. Кто-то из них рывком закрыл окна, и я больше ничего не слышала, но тут я снова подумала о глазке в полу моей ванной.

Конечно, я понимала, что хорошо, а что дурно. Мой отец, Лютер Джеллико, успел внушить мне это до своего ухода, а потом мать продолжала наставлять уже по-своему: за всякий проступок будет расплата, не лги, не воруй, не разговаривай с незнакомыми, не открывай рот, пока к тебе не обратились, не смотри матери в глаза, не пей, не кури, не ожидай ничего от жизни. Я знала, что существуют правила, по которым я должна жить, но это знание пребывало во мне на интеллектуальном уровне, в виде списка, с которым нужно сверяться, прежде чем совершить что-нибудь. Оно не было естественным и врожденным, как (мне казалось) у всех остальных. Однако в этом списке ничего не было насчет подглядывания и подслушивания. Без всяких угрызений совести я отправилась в ванную и вынула ту самую доску. Встала на колени, подняла трубку и посмотрела в окуляр.

Кара лежала на полу ванной, она была в ночной рубашке, лицо ее закрывали волосы – буйные тугие кудри. Она свернулась клубочком, устроившись головой на коленях у Питера. Время от времени грудь ее вздрагивала и слышался всхлип. Питер в пижаме сидел прислонившись к стене и вытянув ноги. Склонившись к ней, он гладил ее по волосам, и я дивилась той любви, которая читалась в этом движении, во взаимном отдавании и получении, которого я сама никогда не знала. Через несколько минут она села прямо и принялась покрывать его шею и лицо мелкими поцелуями, но он оставался неподвижен, точно ждал внезапно выпущенных когтей. Она поцеловала его в рот, прижавшись к его губам своими, а ее рука, с обручальным кольцом на пальце, прошла по его бедру и скользнула к паху. Я не отводила взгляд: мне было любопытно. Питер не дал ей проникнуть в его пижамные штаны, мягко взяв за запястье и убирая от себя ее руку. Кара повесила голову, ее тело затряслось от рыданий. Он поднял ее на руки и, словно ребенка или инвалида, понес из ванной.

3

На другое утро я без всякого завтрака взялась работать над своими заметками, и к тому времени, когда я выбралась из дому, уже стояла такая жара, что моя ладонь липла к пластмассовым ручкам сетки для продуктов. Шляпку свою я найти не смогла и пришла к выводу, что, скорее всего, оставила ее в автобусе. Я пересекла заросший каретный круг и начала долгий путь по аллее. Она вся была изрыта выбоинами – вероятно, их оставили армейские грузовики, последний раз с грохотом катившие по ней много лет назад. Солнце неистово било по темени, и хотелось пить. В дальнем конце аллеи, в полумиле от меня, я заметила фигуру велосипедиста и мгновение спустя поняла, что это Кара: опустив голову, она энергично крутила педали, поднимаясь вверх, к дому (аллея имела небольшой уклон). Что следует делать в таких обстоятельствах? Я знала цвет ее ночной рубашки (младенчески-розовый), мне было известно, какой жалобный вой она издает при плаче, и тем не менее мы пока не были знакомы. Моя мать остановилась бы и завязала с ней учтивую беседу, притворившись, что ничего не слышала и не видела. Разумеется, для таких случаев существует тема погоды. Я могла бы заметить, какое сегодня голубое небо, или спросить у Кары, пойдет ли, по ее мнению, дождь. Но я не была уверена, что смогу смотреть в глаза женщине, чью руку я видела залезающей в пижамные штаны мужа. Может, спросить, нет ли у нее чего-нибудь попить? Кара уже проехала левый изгиб аллеи, и я разглядела, что на ней зеленая косынка, завязанная под

подбородком, и темные очки. Ее колени под тем же трикотажным платьем, что было на ней вчера, двигались вверх-вниз. Я представила себе бутылку лимонада у нее в велосипедной корзинке, еще ледяную после холодильника одного из городских магазинов.

Я вытерла влажную ладонь о юбку, готовясь пожать ей руку, когда она остановится, и двинулась ей навстречу. Заготовленные унылые слова («Привет, я Фрэнсис, я приехала изучить садовые постройки») ощущались галькой во рту, которая высыплется на землю, сто?ит мне его раскрыть. Я слышала старческое сипение велосипедной подвески и резиновое шарканье недокачанных шин по каменистой поверхности аллеи. И я видела ее щеки, разрумянившиеся от физического напряжения.

А потом, когда она уже почти поравнялась со мной, я сошла с мощеной поверхности в траву и встала за ближайшее дерево, прижавшись к нему спиной. Я даже себе солгать не могла, будто так она меня не заметит.

Проезжая мимо, Кара нажала на звонок, и от этой трели несколько ворон, каркая и хлопая крыльями, поднялись в воздух. Я не двигалась, пока она не докатила до Линтонса, соскочила с велосипеда, поколотила в парадную дверь и исчезла внутри. За это время мои щеки уже перестали быть такими красными.

* * *

Аллея в конце резко поворачивала вправо, в сторону дороги: этим путем я прибыла сюда. Но прямо, по направлению к городу, вела тропинка, вившаяся между двумя полями. Она сильно заросла, и над ней стояло жужжание насекомых. Небо отливало матовой голубизной, солнце продолжало шпарить, вытягивая из меня всю жидкость, заставляя ее скапливаться у меня под мышками и в вырезе на груди. Если бы Кара сейчас проезжала мимо меня, я бы сшибла ее с велосипеда, чтобы добраться до этой воображаемой бутылки лимонада у нее в корзинке. Решив, что до города отсюда ближе, чем до Линтонса, я упорно двинулась дальше, представляя себе высокий стакан воды, который я попрошу, добравшись до кафе. Должно же там быть кафе.

Когда поля кончились, тропинка стала шире, но тенистее: по краям росли тисы, наклонившиеся друг к другу. Их ветви сплетались, точно свадебная арка, и я шла под ней – невеста без жениха. По сторонам поднималась насыпь, а сама

тропа была изрядно истоптана, повсюду виднелись бурые кости древесных корней. Я была благодарна за эту тень, и лишь когда впереди замаячил освещенный полукруг, а потом железные ворота кладбища, я поняла, что это та тисовая аллея, по которой многие поколения Линтонов ходили, ездили верхом, а по завершении земного пути, лежащие в своей лучшей одежде, были отнесены на руках в церковь поместья, упомянутую у Певзнера. Створки ворот внизу заросли травой, доходившей мне до колена, но за ними я видела накренившиеся могильные камни и бабочек, зигзагами мелькавших между будлеей и цветущим чертополохом. Я толкнула ворота, притоптала пырей и протиснулась в створ. Здесь, на задах погоста, за могилами давно никто не следил, мох и дожди съели даты и имена, так что о покоящихся здесь в земле свидетельствовали лишь стертые заглавные буквы. Я прошла вдоль надгробий от прошлого к настоящему и обнаружила четырех Линтонов, захороненных вместе: двух Доротей, Чарльза, скончавшегося в двадцать лет, и Сэмюэла, который прожил всего один год.

Я пошла по тропинке, ведущей в обход церкви, мимо еще одного тиса, толщиной почти с башню, и мимо стога давно скошенной травы, на который кто-то бросил увядшие цветы: все это пахло гнилью, прелой растительностью, обращающейся в слизь. На северной стороне церкви среди надгробных камней стоял викарий в черной рясе. Он склонил голову над страницами книги, и я не видела его лица. Рядом с ним мужчина постарше, с шапкой в руке, отдыхал, опираясь на лопату с длинным черенком. Перед ними была открытая могила.

Держась поближе к стене, я обогнула здание и подошла к главным дверям, которые оказались не заперты. Я не была в церкви с похорон матери, но запах воска и сам воздух, прохладный, как вода в ручье, казались мне чем-то знакомым и дружелюбным. Тогда я проплакала всю заупокойную службу, все гимны. Я не могла остановиться, даже когда викарий говорил свои несколько слов или когда принималась петь горстка престарелых друзей матери, – хотя толком не понимала, идут ли мои чрезмерные рыдания от жалости к себе или от ужаса, что мать действительно умерла.

Эта церковь оказалась замечательно простой: скамьи, сплошные беленые стены, деревянный потолок. Я бы не сказала, что она меня разочаровала. Пройдя между скамьями, я проскользнула в ризницу, и как раз открывала посудный шкафчик над раковиной, когда услышала позади голос:

– Могу я вам чем-то помочь?

Я повернулась. В дверях стоял викарий, держа в руках молитвенник. У него были мешки под глазами, словно он не спал несколько ночей подряд, и волосы, собранные в довольно нелепый пучок, но больше всего меня встревожила его черная борода. Все викарии, которых я раньше видела, ходили чисто выбритыми.

– Извините, я за стаканом, – объяснила я. – Для воды.

– Боюсь, вам нужно приносить сюда собственные вазы для цветов. Снаружи есть кран, им могут пользоваться все.

– Я имею в виду – попить.

Он обошел меня, отодвинул матерчатую шторку, взял с полки стакан, наполнил его из крана и протянул мне.

– Мистер Локьер заметил, как вы входили через задние ворота.

Он окинул меня взглядом, и я четко представила себе, что он видит: седеющую женщину средних лет, довольно полную в талии, и горло ее подергивается от глотков. Но, видно, я прошла некое неведомое мне испытание, потому что он подал руку и представился:

– Виктор Уайлд.

Я замешкалась, потянула вперед руку со стаканом, отдернула ее, смущенно засмеялась, поставила стакан на сушилку. Снова начала протягивать руку и снова отдернула, чтобы прежде вытереть ладонь о юбку.

– Виктор? – переспросила я. – Викарий Виктор? – бездумно добавила я, и он округлил глаза, словно уже много раз слышал эту шуточку. – Простите, – извинилась я. – Фрэнсис Джеллико. Как поживаете?

Похоже, он уже заметил, что на пальцах у меня нет колец, потому что, кивая, отозвался:

– Мисс Джеллико, вы из тех, кто остановился в Линтонсе?

Он извлек из кармана носовой платок, и я вдруг с ужасом подумала, что он собирается вытереть им свою ладонь, к которой я прикоснулась при рукопожатии. Но вместо этого он провел им по шее и запихнул его обратно в карман.

– Я составляю отчет о причудливых сооружениях и садовых постройках, – сообщила я.

– Мы как раз хоронили одного из Линтонов. Собственно говоря, последнего из Линтонов.

– Я даже не знала, что кто-то из них еще жив.

– Что ж, – произнес он, – теперь их не осталось. Все они в земле.

Он завел руку к своему затылку, расстегнул крючок или пуговицу и, прежде чем я успела отвернуться, потянул за высокий воротничок, который тут же выскользнул из-под его рясы вместе с каким-то приделанным к нему нагрудником. Я никогда особенно не задумывалась о деталях церковного облачения, но эта сцена меня потрясла: с таким же успехом он мог залезть себе под рясу и снять подштанники. Я перевела взгляд в сторону раковины, мучительно пытаясь придумать, что еще сказать.

– Он… он… у него остались какие-то родственники?

– У нее, – поправил викарий у меня за спиной. Послышался шорох снимаемой одежды, и на момент, пока он стаскивал что-то через голову, его голос зазвучал глухо. – Насколько мне известно, никаких родных, никаких друзей. Присутствовали только я и мистер Локьер, могильщик. Ну, и она сама, разумеется. Последняя Доротея Линтон была та еще особа. Чертовски сварливая и забывчивая. Непростой характер был у старушки.

Звякнули плечики для одежды.

– Подумать только, – отозвалась я, не уверенная, должны ли викарии вот так сплетничать насчет своих прихожан. – И все-таки, мистер Уайлд, она же отправилась в лучший мир, верно?

Я не раз слышала, как мать употребляет это выражение. Посмотрев через плечо, я увидела, что викарий уже снял свою рясу и что под ней у него джинсы и фуфайка вроде тех, что были у моего отца, только эту спереди украшало розово-желтое лучистое солнце – крашено было вручную, вроде бы это называют варенкой.

Он поднял брови:

– Что ж, если вам приятнее так думать. И называйте меня Виктором, пожалуйста.

Улыбнувшись, он взял стакан с сушилки, наполнил его из крана и, наклонившись над раковиной, вылил воду на свою белую шею.

– Боже, ну и жара сегодня, – заметил он, выпрямляясь. – Несколько лет назад Доротея попыталась снова пожить в Линтонсе. Судя по всему, она превратила одну из чердачных спален в ванную, чтобы наверху могла поселиться пожилая женщина, которую она прихватила с собой. В качестве чуть ли не горничной, прямо как в старые времена. По-моему, они там и месяц не продержались. Удивительно, как вы справляетесь. Там хоть есть электричество и водопровод?

Он снова потянулся к своему затылку: одно ловкое движение – и резинка, собиравшая хвост, оказалась на запястье, так что волосы крупными волнами легли вокруг его лица. Я лишь таращилась на него в изумлении.

– Там очень интересная атмосфера, – почему-то захотелось мне выступить в защиту этого места.

– Доротея Линтон считала, что армия, или власти, или кто бы там ни был лишили ее целого состояния, – продолжал он. Ручейки воды превращали розовые полоски на его фуфайке в лиловатые. На волосах и бороде у него поблескивали капельки влаги. – Всем, кому не лень было слушать, любила рассказывать, как у нее обманом все отобрали.

Он снова наполнил стакан и протянул его мне. Теперь я прихлебывала потихоньку.

– Это на самом деле так?

– Я бы сказал, что у нее было не все в порядке с головой, но вы же сами там живете. Я слышал, там все вымели подчистую. Так ведь и есть? Ничего не осталось. Военные вроде бы подлатали крышу, но этим дело почти и ограничилось. Не думаю, чтобы особенно приятно было гостить в таких руинах.

– Но это может быть такой милый дом, когда мистер Либерман приведет его в приличный вид. А в садах…

– Мистер Либерман? Тот американец, который все это купил? – Виктор закрыл дверцу гардероба, вытащил фуфайку из джинсов и, заметив, как я на него пялюсь, пояснил: – Сегодня днем – нерабочее время. – Он отправил молитвенник на полку, засунув его между другими книгами. – Дядя мне рассказывал, как Линтоны устраивали в этом самом доме рождественские вечеринки для жителей деревни. Каждый год, пока не началась Первая мировая. Тогда они не считали денег. Елка в зале до потолка, музыка, танцы, сладкие пирожки – ешь не хочу. Игра в прятки для деревенских детишек. Естественно, потом они выстраивались в очередь к Доротее – за подарком. Наверное, они ждали, что им достанется кукла, юла или что-нибудь такое. Дядя хохотал, описывая, как у них вытягивались физиономии, когда им вручали истрепанный кусок гобелена, полированный камешек или высохшего жука на булавке и заверяли, что это фамильная реликвия. – Виктор покачал головой. – Да, старая пташка была с характером.

Он проводил меня до кладбищенских ворот, и мы снова обменялись рукопожатиями. Уже поворачиваясь, он сказал, словно эта мысль только что пришла ему в голову:

– Надеюсь, вы придете в воскресенье на службу вместе со своим другом. Господь свидетель, мне бы не помешали новые лица в церкви.

И прежде чем я успела ответить, что не знаю, кого он имеет в виду: у меня, как и у Доротеи Линтон, никаких друзей нет, – он уже зашагал через кладбище к проему в стене, который, скорее всего, вел в садик пастората.

* * *

Городок оказался меньше, чем я себе представляла: булочная, бакалея, кондитерская, рыбная лавка. Ни кинотеатра, ни книжного магазина. На узеньких тротуарах толпились женщины с корзинками и плетущимися сзади детьми. Некоторые женщины, собравшись в кружок, болтали о (как я вообразила) школах, туфлях и ценах на капусту. Каково это было бы – жить такой вот жизнью? В центре которой муж и дети. Я не понимала, как с ними такое произошло? Какой трюк по части макияжа, или прически, или умения разговаривать все они выучили к двадцати годам? Трюк, который я почему-то не освоила. И ведь не то чтобы я страстно рвалась заполучить мужа или жаждала обзавестись детьми: просто эта иная жизнь казалась мне совершенно чуждой, и я не могла представить, каким образом она складывается.

Никакого кафе в городке не нашлось, но я увидела здание с вывеской «Хэрроу Инн» – скромную гостиницу с закусочной. На доске снаружи значились сэндвичи и кофе. Осознав, как мне хочется есть, я вошла.

У входа в обеденный зал стояли две женщины, загораживая дорогу. Когда я приблизилась, они глянули на меня и отвернулись, ничем не показав, что заметили.

– Сандра мне сказала – на прошлой неделе она отправила это самое письмо, – сообщила одна из женщин. – Теперь надо, чтобы так сделали еще несколько наших.

Другая, развязывая узел косынки, хмыкнула:

– Ну и жарища там. – Она сняла косынку и взбила рукой свои примятые кудри. От них шел химический запах средства для перманента. – Кристина говорит – мне надо первые день-два избегать прямых солнечных лучей. Не понимаю, как ходить с этой штукой, когда такое пекло.

– Могу тебе кратко обсказать, в чем там дело, – произнесла первая и, не дождавшись реакции от обладательницы свежего перманента, добавила: – Это важно.

– Я слыхала, он все равно долго здесь не задержится, – отозвалась завитая. – Он подумывает уйти.

– Скатертью дорожка.

Я слегка кашлянула. Первая снова покосилась на меня, потом обернулась к своей подруге, сказала что-то, чего я не расслышала, взяла ее под руку, и они, сблизившись головами, засмеялись. Дружба казалась такой простой и вместе с тем такой невозможной.

– Извините…

На сей раз обе посмотрели прямо на меня, уже без всякого смеха.

– Вы ждете столик? – спросила я.

– Там все забито, – ответила женщина с перманентом.

– Боже, – сказала я. – У меня внутри совсем пересохло. Вы правы, невероятная жара.

Я двумя пальцами слегка оттопырила спереди блузку и улыбнулась. Женщины, чуть помолчав, опять отвернулись.

– Если хочешь, завтра я напишу епископу, – сказала та, что с перманентом, своей подруге.

* * *

В бакалее я купила яиц, полфунта бекона, сливочное масло, картошку и две бутылки охлажденного лимонада. Завернула в кондитерскую за пакетиком мятных конфет «Эвертон», а в рыбной лавке соблазнилась на целую камбалу, которую мальчик в окровавленном фартуке завернул в белую бумагу и потом в страницу «Таймс». В булочной я купила буханку и, поддавшись импульсу, три челсийские булочки[9 - Челсийская булочка – сдоба с изюмом или другими сухофруктами.], представляя себе, как заскочу к нижним жильцам: может быть, Кара и Питер захотят съесть их вместе со мной? Четыре продавца сказали мне «доброе утро» и «спасибо» (протягивая покупки или сдачу). Мне нравилось вести счет чему-то подобному. Если набиралось больше семи, значит, день удался.

Возвращалась я тем же путем, мимо церкви, но Виктора не увидела. Я остановилась у могилы, засыпанной свежей землей, местами уже подсушенной солнцем и посветлевшей. Конечно, никакого надгробия пока не было (а может, и никогда не будет) – никакого указания, что здесь лежит последний представитель семейства Линтон. Убедившись, что меня никто не видит, я выпила полбутылки лимонада и съела одну из булочек, лежавшую в бумажном пакете, хотя мать всегда говорила, что это самая дурная манера – есть или пить на улице: «Если пища достойна того, чтобы ее съели, она достойна того, чтобы ее съели прилично».

Я шла по тисовым и липовым аллеям, и солнце снова пекло мне макушку. За домом, у дальнего края озера, над деревьями виднелась верхушка башни усыпальницы. Огибая поместье, я взглянула на нее с другой стороны, но не стала входить внутрь, хотя заметила, что замо?к на двери сломан. Дойдя до каретного круга, я опустила сетку с продуктами в высохшую чашу фонтана, в тень, которую отбрасывала мраморная женщина. Немного поразмышляв о булочках, я все-таки взяла бумажный пакет с собой, решив, что не могу предлагать Питеру с Карой две оставшиеся, когда нас в доме трое. По пути к склепу я съела еще одну.

Дверь усыпальницы была приоткрыта, дерево вокруг замка? растрескалось. Из пустого вестибюля я вскарабкалась по винтовой лестнице, жавшейся к стенам, когда-то выкрашенным клеевой краской. Наверху обнаружилась небольшая площадка, вертикальная лесенка и люк, который я открыла, толкнув плечом, после чего протиснулась внутрь. Фонарь крыши был открыт со всех четырех сторон. Отсюда было видно все озеро, блестевшее на солнце. Я невольно отыскала взглядом мост вдали. Позади меня находились остатки огорода, обнесенного кирпичной стеной и заросшего, а поворот взгляда еще на сорок пять градусов приводил меня к дому, ослепительно-белому под дневным солнцем, словно корабль, плывущий по зеленому морю. Рядом с ним просматривалась оранжерея. Блеснуло солнце на открывающейся двери, и я увидела фигуру человека – видимо, Кары. Я не могла разглядеть ни черт лица, ни каких-либо деталей, но рукой она делала необычный приглашающий жест, двигая перед собой ладонью вверх-вниз, и лишь когда она повторила его в третий раз, я поняла, что она подбрасывает что-то в воздух и ловит, подбрасывает и ловит.

В главном зале, на нижнем этаже башни, располагались три гробницы: одного из первых лордов Линтонов и – по обеим сторонам от него – его первой и второй

жен. Сверху имелись резные каменные гизанты[10 - Гизант – надгробный памятник в виде лежащей фигуры.]. Вероятно, когда-то в этом зале горел открытый огонь: одна стена и потолок почернели от копоти. У лежащего каменного лорда не хватало носа и трех пальцев: я решила, что их отломил на сувениры какой-нибудь солдат, тем самым превратив изваянного мужчину в прокаженного. Женским статуям повезло еще меньше. При свете, проникавшем в отворенную дверь, было видно, что там, где полагалось бы находиться их сердцам, кто-то пробил в камне дыры. Заглянув в темные полости, я ничего не смогла там различить, а на то, чтобы сунуть туда руку, мне не хватило смелости. Вслух помолившись за всех троих, я вышла наружу.

Вернувшись к фасаду дома, я спугнула кошку, тощую и драную, которая припустила от меня, унося что-то во рту. Приблизившись к фонтану, где я оставила покупки, я поняла, что паршивка добралась до моей сумки. Она полизала масло, размякшее на солнце, вытащила завернутую рыбу и, разодрав газету, уволокла все, оставив мне лишь голову, которая бессмысленно пялилась на меня круглыми глазами. По траве стелился заголовок из растерзанной газеты: «Человек делает первые шаги по Луне». Я набрала пригоршню гравия и швырнула вслед кошке.

* * *

Остаток недели я провела, бродя по поместью и составляя более подробную карту его достопримечательностей: вот усыпальница, вот обелиск в честь павшей лошади, вот грот из гальки и ракушек, вот ледник, вот мост. Я работала с методичной точностью, радуясь хорошей погоде и зная, что у меня полно времени, чтобы подготовить отчет: несколько последних дней июля и весь август. В траве пряталось множество мелких скульптур: скажем, урна, на подножии которой имелось посвящение чьей-то любовнице, или нижняя часть статуи – Эрота, как я предположила. Каждый день я приходила к мосту в надежде, что он переменился, что некий избавитель ночью выдрал сорняки, собрал мусор, плавающий в воде, и сделал эту штуку палладианской. Я еще раз и без всяких приключений прогулялась в город. Питер с Карой готовили, я закрывала окно или отправлялась на вечерний променад, в сопровождении мелькающих в воздухе летучих мышей. Погода оставалась теплой и сухой. Я не встречалась со своими нижними соседями, не слышала и не видела их новых ссор и очень старалась забыть о расшатанной половице у меня в ванной.

4

Викарий (Виктор: конечно, я знаю, что это он, хотя насчет его сана я по-прежнему не уверена) снова приходит посидеть у моей кровати и подержать меня за руку. А может, он всегда тут сидел – и ждал, пока я спала. Скоро я засну и не проснусь. Никогда больше не посмотрю вверх, сквозь ветки дерева, наблюдая, как свет блуждает среди листвы, никогда не прижму ладонь к стволу, чтобы на ней отпечатался узор. Никогда больше не вдохну запах земли после дождя, никогда не услышу, как вода лижет камень.

Виктор спрашивает меня, в чем я раскаиваюсь. И спокойна ли моя совесть. А потом шепчет:

– Расскажите мне, что случилось на самом деле.

– Как насчет тайны исповеди? – отвечаю я, пытаясь его подловить. Может, он забыл все, чему его учили.

– Все священники обязаны хранить секреты.

Ерзая задом, он пододвигается на край кресла. Интересно, скрестил ли он пальцы на другой руке? Я знаю, что он не во всем такой, каким прикидывается.

– Даже после смерти? – уточняю я.

Кивнув, он стискивает мою ладонь. Я чувствую его ожидание, но он ждет от меня не открытия личных тайн, а правды. Он хочет ее знать – ради моей же пользы.

– Даже если это противоречит законам государства?

Однажды я подслушала, как они обо мне говорят. К тому времени я провела тут около года. Бунтарка – вот как они меня назвали. И мне это понравилось. Женщины, которые попадают сюда, уходят либо сердитыми и протестующими, либо покорными и кроткими. И, как ни удивительно (если учесть, какой я была все свои первые тридцать девять лет), я отказалась быть кроткой. Старая

пташка с характером. Да.

– Обет все равно нерушим, – произносит Виктор, но сейчас в комнате Сестра-Помощница. Надо постараться не забыть задать ему эти вопросы в другой раз, когда мы будем одни.

Я закрываю глаза. Что я увижу последним: мою расческу, мои очки для чтения, мои часы, мой портсигар, давно опустевший? Так мало вещей – и, конечно, в этот раз я ничего не смогу с собой захватить. Виктор выпускает мою руку, и я снова в Линтонсе, в своей чердачной ванной.

* * *

В воскресенье утром я решаю помыться, хотя вода, которая хлещет из лязгающего крана, имеет буроватый цвет и на дне узкой ванны оседают чешуйки ржавчины. Потом я надела свою зеленую юбку, жакет поверх блузки, извлекла из картонки шляпку и покрыла ее куском желтой материи, который обнаружила в буфете. От материи слегка пахло сыростью, и местами на ней виднелись пятна ржавчины, но мне понравился такой головной убор: широкие поля, куполообразный верх. Я гордо носила его, бродя между деревьями аллеи.

Виктор приветствовал меня у церковных дверей.

– Очень рад, что вы пришли. – Он глянул мне за плечо. – Вы не привели своего друга?

– Нет, – ответила я. – Сегодня – нет.

Меня по-прежнему забавляло его предположение насчет друга.

Оказывается, я явилась в числе первых. Мне всегда нравилось приходить немного загодя: мне думалось, что это признак хорошего воспитания. Слегка кивнув в сторону алтаря, я уселась слева на одну из скамей. Вскоре позади меня расположилось целое семейство: мальчик лет семи ныл и возился, а мать все время на него шикала, со свистом произнося его имя: «Кристофер, Кристофер». Пожилая пара с шарканьем приблизилась и устроилась на скамье напротив моей. Я улыбнулась женщине, а она подняла взгляд на мою шляпку. Пустые

места заняли еще несколько семей и отдельные пожилые люди. Пока Виктор шел по проходу в своем белом стихаре, с волосами, завязанными в хвост, я услышала позади какое-то шевеление и громкий шепот. Обернувшись, я увидела, как Кара оттесняет прихожан, чтобы ей нашлось место на краю скамьи. Волосы у нее не были убраны, их чернота выделялась на фоне длинного желтого платья, которое было как пятно солнечного света в этих блеклых церковных стенах. Я отвернулась к алтарю, прежде чем она успела меня заметить.

Последовали обычные молитвы, гимн, который я плохо знала и который пели под расстроенный орган. Виктор взошел по ступенькам на кафедру. Когда я встретила его в ризнице, он показался мне грубовато-прямодушным – или, по крайней мере, раздраженным своими прихожанами. Теперь же у него был задумчивый вид, и он делал большие паузы между некоторыми словами. Не поднимая головы, я мысленно призывала его говорить поживее, проявить хоть какой-то энтузиазм. Он что-то мямлил про утробу, про зачатие, про нравственное разложение, которое подстерегает нас с момента нашего создания, а потом углубился куда-то, где я уже ничего разобрать не могла. Я изо всех сил пыталась вслушаться: меня очень интересовали грешники. Мне всегда казалось, что церковь с чрезмерной готовностью раздает отпущения грехов, беспокоясь лишь о том, чтобы дотягивать до какой-то квоты – до предписанного количества допущенных в рай.

После еще одной-двух молитв мы перешли прямо к святому причастию. Я не торопилась подниматься. Мне хотелось прежде ощутить дух этой церкви, понять, как здесь все делается. Очередь рядом со мной оказалась короче той, что я привыкла видеть в Лондоне: полдюжины желающих, не больше. Они встали на колени перед алтарем, и Виктор двинулся вдоль этого ряда, слева направо.

– Тело Христово, – возвестил он, демонстрируя облатку. – Кровь Христова. – В его голосе звучала скука. Рядом с ним шел мальчик, державший перед собой чашу. – Тело Христово, – снова проговорил Виктор. – Кровь Христова, – произнес он и сделал паузу.

Перед ним, в своем струящемся желтом платье, стояла на коленях Кара. Виктор посмотрел на нее, а потом на меня, и я поняла, что он имел в виду ее, когда говорил, чтобы я привела друга. Я не видела ее лица, но было заметно, как у нее ходят ходуном плечи, как трясутся ее голова и волосы, и сначала показалось, будто она хохочет. И я поразилась: неужели она может хохотать перед алтарем?

– Тело Христово, – провозгласил Виктор.

Она потянулась головой вперед, и хотя я этого не видела, но представляла, как она открывает рот и высовывает язык, чтобы на него положили облатку. Викарий чуть отступил, чтобы мальчик мог поднести чашу к ее губам. Коленопреклоненная женщина слева от Кары, в шерстяной юбке и жакете, отчасти похожих на мои, только розовых, а не зеленых, отодвинулась, явно зная: сейчас что-то случится. Мне показалось, что я услышала стон Кары, когда мальчик наклонил к ней чашу, и тут я поняла, что она не смеялась, а плакала. Я закрыла рот и сглотнула – словно за нее. Ее сотрясло еще одно рыдание, вроде тех, которые я уже наблюдала в ванной, плечи ее ссутулились, и она кашлянула с закрытым ртом, чуть не подавившись, снова кашлянула, отворачиваясь, чтобы не задеть викария или мальчика-служку, в сторону женщины в шерстяном костюме. Изо рта Кары брызнуло вино вперемешку с кусочками размокшей облатки – алые капли усеяли розовую ткань, словно рядом кто-то вскрыл вены. Прихожанка вскрикнула, пытаясь отодвинуться от Кары, толкнула мужчину, стоявшего на коленях с другой стороны, и повалила того, кто стоял на коленях за ним. Это могло бы показаться смешным, если бы Кара, испустив вой, не ухватилась за юбку женщины и не стала, нагнувшись, слизывать, всасывая, пролитые капли.

– Нет, нет, – произнес Виктор, но при этом сделал шаг назад. На лице у него читался ужас, словно Кара до крови вгрызлась в ногу прихожанки.

Женщина тянула свою юбку, потом принялась дергать, и наконец Каре пришлось выпустить ткань. Она с трудом поднялась, наступив на край своего длинного желтого платья, чуть не упала, повернулась к нам, всем остальным: двум пожилым супругам с тростями, ожидающим причастия, и нескольким прихожанам, сидящим на скамьях. Я видела потрясенное лицо Кары, размазанную помаду, ручейки туши на щеках. Она шла, протискиваясь к выходу, и, когда поравнялась со мной, я протянула к ней руку. Не знаю, что бы я сказала или сделала, если бы она остановилась, потому что мои пальцы не коснулись ее кожи. Она меня даже не заметила.

Мне показалось, что она говорила на ходу:

– Mi dispiace. Извините.

Пожилая чета расступилась, чтобы дать ей пройти, и все мы не отрываясь смотрели на это экзотическое, фантастическое создание.

Я последовала за ней, но, когда добралась до вестибюля, она уже миновала крытые кладбищенские ворота. По другую сторону стены, ограждавшей церковный двор, ее поджидала голубая машина с невыключенным двигателем – до меня даже доносился запах выхлопных газов: водитель словно заранее знал, что понадобится быстро удирать. Кара опустилась на пассажирское сиденье, дверца захлопнулась, и автомобиль уехал.

После службы народ возле церкви собирался в кучки. Я какое-то время пыталась подслушать, что говорят то тут, то там, но до меня доносились лишь обрывки разговоров, в которых мелькали слова «католичка», «Линтонс», «отвратительно». Прижав шляпку к голове, я обошла церковь и выскользнула в задние ворота, но тут услышала, как меня зовут по имени. Виктор, по-прежнему в своем священническом облачении, стоял в траве и протягивал мне стакан воды.

Мы уселись на верхнем краю одной из гробниц-саркофагов в заросшем углу кладбища, скрытые от глаз последних уходящих.

– Простите, что не чай, – проговорил он. – После службы полагается угощать чаем с печеньем, верно? Но я просто больше не могу их всех выносить. По крайней мере, сегодня. – Он передал мне стакан и уперся локтями в колени. – Все эти язвительные замечания про цветы и благотворительные распродажи. И потом, они задержались только для того, чтобы заявить: «А я вас предупреждала» – насчет того, чтобы я не допускал католичку на англиканскую службу…

– Надеюсь, пятна удастся вывести, – вставила я.

– …не говоря уж о разлитой крови Христовой.

Он вздохнул.

– Наверняка можно солью.

Я отхлебнула воды.

– Как я понимаю, католики считают, что вино причастия – это и есть кровь Христова. А не просто ее воплощение.

– Только нужно побыстрее.

– Вот почему началось это… вылизывание юбки.

– А еще я слышала, что пятно от красного вина сойдет, если полить его белым.

– Ваша подруга Кара…

– Но я не очень понимаю, как это действует.

– С ней не очень-то просто, да?

– Она мне не подруга, – заметила она. – Собственно, мы с ней вообще не знакомы.

– Возможно, вам и не стоит менять такое положение вещей, – посоветовал он. Видимо, он заметил мое удивление, потому что добавил: – Простите. Не могу сказать, что знаю ее, на самом деле я не очень… но есть кое-что… – Он помолчал. – Она пришла ко мне, просила, чтобы я ее исповедовал.

– Викарий англиканской церкви? – Меня поразил и сам этот факт, и то, что он мне об этом рассказывает. – Но ведь если она итальянка… католичка…

Он с любопытством посмотрел на меня:

– Знаете, мы тоже принимаем исповеди, только не в маленькой кабинке с занавеской и решеточкой.

Он взял у меня стакан и сделал несколько жадных глотков. Я представила, как сижу напротив него в ризнице и все ему выкладываю. Приносит ли признание в грехах какое-то облегчение? Интересно, какую епитимью он наложил на Кару? Я

слегка поправила материнский медальон вместе с цепочкой: он по-прежнему висел у меня на шее. Ее серьги я не надела, потому что забыла извлечь упавшую после того, как во второй раз водворила доску на место.

– Исповедь доступна для всей моей паствы, – подчеркнул Виктор, и я потупилась. Он снова вздохнул: – Не уверен, что помог сегодня вашему другу. – На сей раз я не удосужилась его поправить. – Скорее всего, Каре больше поможет визит к врачу, а не к священнику.

– Вы ей так и сказали?

Он воззрился на меня:

– Нет. Разумеется, нет. – Помолчав, добавил: – Конечно же, епископу донесут об этом. Пролитое вино причастия, стоимость хорошего шерстяного костюма, католики, рыдающие во время службы. Будут новые жалобы.

Он поднес руку к затылку, потянул хвост, и освобожденные волосы упали вокруг его лица.

– Новые? – повторила я.

– Кое-кто из моих прихожан полагает, что мне следует читать проповеди более вдохновенно, и они не прочь сообщить о своем мнении наверх.

Он принялся играть резинкой и клубочком черных волос, свалявшихся вокруг нее.

– Ваша проповедь была… довольно сдержанной, – заметила я.

– Сдержанной. Верно.

Он сделал еще глоток.

Некоторое время мы сидели молча, созерцая церковь, уютно устроившуюся среди всей этой зелени. По его позе я пыталась понять, о чем он думает: владело ли его мыслями смирение с тем, что все может пойти наперекосяк, если

уже не пошло, или апатия от осознания, что положение уже ничем не поправишь? Еще месяца два назад я бы с ним согласилась, но сейчас, наблюдая, как крошечные мошки садятся на плоские соцветия тысячелистника, разросшегося среди могил, и как его белые цветки сливаются с лишайником, расплодившимся на камнях, я не исключала, что могу стать кем угодно. Слышалось лишь отдаленное жужжание газонокосилки.

– Райское местечко для могилы, – произнесла я.

– Чтобы начать отсюда путь в лучший мир? – осведомился он, явно припомнив наш с ним разговор в ризнице.

– А вам так не кажется?

Он откинул голову, прислоняясь затылком к гробнице, и закрыл глаза.

– Как по-вашему, сколько их было?

– Простите?

– Сколько сегодня явилось прихожан?

Я мысленно прикинула.

– Тридцать – тридцать пять.

– Двадцать девять, – поправил он. – Я сосчитал с кафедры. Каждое воскресенье их все меньше и меньше. Меньше венчаний, меньше крещений. Правда, число похорон идет в гору. Я все жду, когда мне позвонит епископ и заявит, что мой приход не в состоянии поддерживать свое существование.

– По крайней мере, тут наверняка очень оживленно на Рождество и на Пасху.

– Может, и так. – Он вылил остатки воды на траву и поднялся. – Мне пора. Не сомневаюсь, что у кого-нибудь назрели насущные вопросы насчет цветов или следующей благотворительной распродажи.

– Если вы когда-нибудь… – я замялась, – захотите посетить Линтонс, я могла бы вам все показать.

Последние слова я выпалила поспешно.

– Спасибо, – ответил он, уже уходя. – Может быть.

* * *

Потом я, открыв окно, читала у себя в комнате и часа в три начала задремывать, когда вдруг услышала чей-то голос:

– Добрый день! Добрый день… Вы дома?

Я не сразу поняла, что этот женский голос (явно принадлежащий англичанке из высшего общества) доносится снаружи. Выглянув из окна, я обнаружила внизу Кару. Она улыбнулась. У нее было совсем другое лицо, чем в церкви: без всякой помады, глаза ясные, – но на ней оставалось все то же желтое платье. Она высунулась из своего окна под опасным углом и, вывернув голову, смотрела вверх. Ее волосы свешивались темным треугольником.

– Добрый день, – сказала она в третий раз. Нас разделяло примерно шестнадцать футов. – Вы Фрэнсис, да? Как поживаете? Мы с Питером… – Она улыбнулась и глянула за плечо, вглубь комнаты. – Отстань, Питер.

Она засмеялась, убрав одну руку с подоконника и резко наклонившись вперед, но, казалось, ее это не беспокоило. У меня екнуло внутри, и я чуть не высунулась сама, словно могла поймать ее до того, как она свалится.

– Не хотите вечером прийти к нам обедать? Меня, кстати, зовут Кара. – Она снова обернулась к комнате. – Ш-ш-ш, – сказала она невидимому мне Питеру.

– Я думала, вы итальянка, – призналась я.

– Итальянка? Нет. – Казалось, она удивлена. – Так вы придете?

– Очень любезно с вашей стороны, но…

– Только, пожалуйста, не говорите «нет». У меня тут уже несколько недель один только старый скучный Питер и больше никого. У нас тальятелле аль лимоне[11 - Тальятелле в лимонном соусе. Тальятелле – длинная плоская яичная лапша, скрученная крупными клубками.], я наготовила макарон на целый полк.

Она произносила «тальятелле аль лимоне» и «макарон» как настоящая итальянка.

Я никогда не ела никаких макаронных блюд, но знала, что они подаются в темноватых ресторанах Сохо – из тех, мимо которых я часто проходила, никогда не решаясь войти. Столики на двоих, красные свечи в винных бутылках. Мать заявила бы, что это мерзкая иностранная еда, но я проголодалась, и мне надоело обходиться одними консервами.

Видя мою нерешительность, Кара добавила:

– И я хочу знать о вас все, ведь вы наша новая соседка.

– Спасибо, – ответила я. Желудок помог мне победить сомнения. – Я с радостью.

Кара обернулась в комнату.

– Видишь? – сказала она Питеру. – Я тебе говорила, что она согласится.

Я невольно задумалась о том, что же они обо мне говорили, почему Питер решил, что я откажусь от приглашения, и о чем я сама буду говорить, когда они захотят узнать все. Мне как-то нечего было рассказать.

– Хорошо, – заключила Кара, обращаясь ко мне. – В полвосьмого? Для Питера это поздновато, но мы не можем позволить ему обедать в шесть, как рабочему, а уж тем более в четыре, потому что тогда это будет детский чай и нам придется довольствоваться вареными яйцами и копченой селедкой[12 - Детский чай – традиционная трапеза в обеспеченных английских домах начала XX века. Ближе к вечеру родители (как правило, почти не видевшиеся с детьми) приходили в детскую, где подавалась сравнительно простая еда – сэндвичи, вареные яйца,

хлеб с вареньем, иногда пудинг и т. п. При этом обычно пили не чай, а молоко.].

Я увидела руки Питера на ее талии. Она радостно вскрикнула от щекотки. И я не стала сообщать ей, что в четыре часа я всегда приносила матери чайник и поднос с гарибальдийским печеньем[13 - Гарибальдийское печенье – сорт печенья с изюмом. В 1861 году, на волне популярности Гарибальди в Великобритании (в то время он как раз завладел Неаполем и Сицилией), такое печенье стала выпускать лондонская компания «Пик Фрин». Оно до сих пор является одним из любимых лакомств британцев.].

* * *

Вымывшись, я надела ту же юбку и блузку, в которых ходила в церковь. Это был мой наряд для официальных выходов: крещение троюродной сестры, встреча с редактором журнала. В моих комнатах не нашлось ни одного зеркала, и, хотя я немного сбросила вес после смерти матери, я знала, что тяжеловата, что у меня широкие бедра и большая грудь, как у нее до болезни. Но мать в те годы, когда мы жили вместе с отцом в нашем роскошном доме в Ноттинг-Хилле, была высокой, с длинными ногами, изящной шеей, и она отлично несла на себе этот лишний вес. Я вылезла из юбки и блузки и облачилась в вечернее платье матери, которое привезла с собой. Я вспомнила, как отец, присев на корточки, обхватил меня руками, и мы с ним смотрели, как мама торжественно спускается по широкой лестнице, придерживая ткань двумя пальцами, чтобы платье не попадало между ног, и ступая так медленно, что казалось, будто она парит в воздухе. У платья имелась короткая бархатная пелерина и бархатный пояс с бархатной же пряжкой, перехватывавший ее талию. Помню, как сильно мне хотелось заполучить это платье, стать его хозяйкой, сходить в нем по ступеням. Я вырвалась из отцовских рук и побежала к ней, и она, наклонившись, подхватила меня, а потом я оказалась стиснута между бархатом платья и тканью отцовского костюма. Аромат ее духов и прикосновение его усов к моей щеке, когда на прощание он поцеловал меня, долго оставались со мной и после того, как они ушли в этот вечер, оставив меня с экономкой.

Теперь это самое платье топорщилось у меня на животе, и как бы я ни разглаживала, оно сопротивлялось, словно удивляясь моим попыткам носить его. Я сняла платье, положила на кровать, разгладила складки и влезла в материнское нижнее белье, которое тоже захватила с собой. Ее пояс впился в мой пышный живот, а грудь перевалила за верхние края толстого бюстгальтера.

Я прикрепила ее черные чулки к подвязкам, растянув на бедрах нейлон до прозрачности. Во всем этом невозможно было как следует вздохнуть, зато молния платья закрылась и пуговка вошла в петельку. При каждом движении я чувствовала, как белье стискивает мое тело, словно мать неотступно следует за мной. Даже когда я стояла, кольцо жира опоясывало меня между бюстгальтером и чулочным поясом, словно детский надувной круг, плотно севший на талию. Ладно, деваться некуда.

В ванной я надела сережку от Хэтти Карнеги, лежавшую рядом с пудрой, и задумалась о том, что? у меня под ногами. Приподняв подол платья и держась за раковину, я опустилась на колени, стараясь издавать как можно меньше шума. Потом вынула доску и положила ее на пол рядом с выемкой. Не в силах удержаться, я снова посмотрела в трубку.

Питер сидел в пижаме на краю ванны, которая поблескивала внутри: видно, из нее только что спустили воду. Кара, в нижнем белье, склонилась над ним. Пальцами одной руки заставляя его отклонить голову вбок, другой рукой она брила его щеку. Пройдясь один раз бритвой, она окунала ее в мыльную воду, заполнявшую раковину. Он оставался неподвижен, лишь его глаза следили за ее работой. Каждое ее движение было точным, выверенным, сосредоточенным: прикосновение пальцев к его лицу, проход бритвы вверх. Я понятия не имела, что процедура бритья может быть такой интимной.

Отстранившись, я выдохнула, только сейчас осознав, что затаила дыхание. Деловито и сноровисто, будто подсматривание за соседями было для меня регулярным будничным занятием, я подобрала серьгу, вставила доску на место так же бесшумно, как извлекала ее, и поднялась.

5

В семь двадцать восемь я была готова и спускалась по задней лестнице (опоясывавшей шахту ржавого кухонного лифта). Пройдя через небольшой коридорчик, я толкнула дверь для слуг, обитую зеленым сукном и отделявшую знакомое от неведомого. За ней открывалась парадная лестница, выполненная в имперском стиле: два пролета спускались к площадке, где они соединялись и затем расходились в противоположные стороны. Сверху царила двойная высота:

пустое пространство, поднимавшееся вне стен спален и чердака к стеклянному куполу – совершенно великолепному, как справедливо отметил Питер. Всякий раз на этом месте я словно бы воспаряла ввысь, одновременно ощущая свою незначительность. В церкви я никогда не испытывала восторженное состояние подобного рода. Последние солнечные лучи, проходя сквозь цветные стекла, освещали лестницу, окрашивая розовым стены, на которых виднелись бурые дождевые потеки. За неделю, прошедшую после моего приезда, я лишь чуть-чуть обследовала дом изнутри: сбежала по главной лестнице, предполагая, что она выведет в парадный вестибюль, но обнаружила, что нижний пролет оканчивается мрачноватым коридором, тянувшимся с севера на юг. Такая неожиданная планировка почему-то обеспокоила меня. Мне показалось, что меня незаметно развернуло не в ту сторону, и я поспешила вверх по той же лестнице, к свету.

На среднем этаже широкий коридор, идущий от верхней лестничной площадки, имел сводчатый потолок с кессонами – судя по всему, некогда украшенный белой гипсовой лепниной поверх голубой, как утиные яйца, краски. Вся эта голубизна теперь сошла, гипс отвалился кусками, на полу хрустели обломки. В обнажившейся штукатурной решетке стен зияло несколько дыр размером с человеческую голову. Слева от меня тянулась странно голая стена, а справа обнаружились две закрытые двери. Я прошла дальше, мимо ниши в виде арки (теперь она пустовала, но раньше, вероятно, в ней стояла статуя – скажем, какой-нибудь музы: ее опрокинули и разбили, а голову забрали домой как военный трофей), мимо следующих открытых дверей, за которыми виднелись комнаты с высоким потолком, набитые сломанными армейскими койками и вздыбленными матрасами. Все это, покрытое птичьим пометом и перьями, было свалено в кучу. Сквозь перекрученный металл я различала проблески дороги и аллеи по одну сторону и парка – по другую.

Сообразив, где расположены моя чердачная комната и окно, откуда со мной говорила Кара, я вернулась к первой закрытой двери. Какое-то время я постояла возле нее, набираясь храбрости, приглаживая платье поверх чулочного пояса, постаралась как следует выпрямиться, провела языком по верхним зубам. Потом сделала вдох и постучалась. Подождав, я опустила взгляд на грудь, снова поправила платье, посмотрела на часы: семь тридцать две. Опять постучала, уже погромче. Еще минуты две я волновалась, правильно ли запомнила время, правильно ли поняла Кару. Может, она не имела в виду нынешний вечер? Может, они забыли? Я стояла в нерешительности, раздумывая, не подняться ли к себе, не притвориться ли, что я тоже забыла. Но тут я забеспокоилась, что они обидятся. Я снова постучала. По крайней мере, я смогу сказать, что проделала

это трижды.

Я услышала, как кто-то бежит, как что-то валится, потом кто-то выругался, и Питер рывком распахнул дверь. Он по-прежнему был в пижаме.

– Ох, черт побери, – произнес он, увидев меня, и всплеснул руками. – Что, уже пора?

– Я слишком рано. – Жар заливал мне лицо. – Или тогда в другой вечер.

Слова сами собой, в каком-то нелепом порядке вырывались у меня изо рта.

– В другой вечер?

– Я могу прийти в другой вечер.

– Ну вот еще, – сказал Питер. – Надо сейчас. Вы только поглядите на все это.

Он открыл дверь пошире и простер руку. Когда-то это огромное помещение, видимо, служило салоном – тем местом, где Линтоны принимали гостей еще в первоначальном, георгианском доме. Теперь оно было почти пустым. Единственным его украшением (если так можно выразиться) служили широкие полоски макарон, развешанные на полудюжине веревок, протянутых сверху от трех громадных окон к противоположной стене. Казалось, это сушится какое-то белье – чулки цвета слоновой кости, предназначенные для целой армии женщин с тощими ногами. Но прекрасной эту комнату делало освещение. Свет лился через поднятые окна, бросая на пол янтарные прямоугольники и насыщая зал медовым сиянием.

Дверь слева открылась (я предположила, что за ней находилась их спальня), и Кара высунула из нее голову: первым делом я увидела ее буйную черную шевелюру.

– Фрэнсис! Две минутки! Я сейчас выйду.

Питер схватился за свою пижаму:

– Секундочку, сейчас мы к вам придем. Располагайтесь.

Он скрылся в спальне, и до меня донесся их разговор – слишком тихий, чтобы я могла разобрать слова.

Оставшись одна в этой огромной комнате, я огляделась. От приоткрытой двери напротив спальни я сразу отвела глаза: эта дверь, видимо, вела в ванную. У стены стояли электрическая плитка вроде моей и старый холодильник. На четырех перевернутых вверх дном упаковочных ящиках, чтобы сделать их повыше, были уложены стопки книг, а поверх них – длинная деревянная доска: получился стол, вокруг которого расположились три сиденья – еще два ящика и табуретка. Поверхность стола загромождали газеты, пепельницы, записные книжки и пишущая машинка. На «кухонном» его конце высилась груда грязных тарелок, а рядом – буханка хлеба, которую резали прямо на столе. Половицы были голые. Никаких стульев или диванов, никаких ковров, никаких картин на стенах. Я старалась не смотреть на захламленный стол, но кроме развешанных макарон никаких признаков готовящегося обеда не заметила. Подойдя к одному из окон, я стала смотреть наружу, на парк и далекие лесистые уступы. Я снова разгладила платье на животе, пытаясь заставить исчезнуть бугор между бюстгальтером и чулочным поясом.

Через десять минут из спальни вышли Питер с Карой, извиняясь за опоздание, сваливая вину друг на друга и хохоча. Кара двинулась ко мне с распростертыми объятиями, словно давняя подруга. Она оставалась все в том же платье, в каком приглашала меня на обед и перед этим ходила в церковь, но на шею она повесила целых три нитки бус. Распущенные волосы обрамляли ее лицо, ноги были босые, на их ногтях – по-прежнему зеленый лак. Питер был в мешковатой рубашке, не заправленной в расклешенные джинсы. Мне стало жарко от стыда за то, что я вообразила, будто мое платье в пол, с его бархатной пелериной и поясом, модное тридцать лет назад, окажется в самый раз для обеда с моими новыми соседями.

– Простите, что мы медлили со знакомством, – произнесла Кара.

Она взяла меня за плечи и потянулась, словно хотела поцеловать меня в губы. Я так и окоченела, но в последнюю секунду оказалось, что она меня обнимает, без всяких поцелуев.

В шестьдесят девятом году эти объятия Кары казались мне чем-то новым и шокирующим. Теперь-то я знаю, что люди постоянно так делают. Иногда я вижу, как они обнимаются здесь, в этом месте, когда одна девушка заступает на дежурство, а другая уходит. Женщины обнимают женщин, женщины обнимают мужчин, мужчины обнимают женщин: интересно, как они заранее знают, что это произойдет? Какое неуловимое движение, какой незаметный жест, который я всегда упускала, показывает, что они вот-вот обхватят друг друга руками? А мужчины обнимают мужчин? В этом месте мне некого обнимать. И меня обнять никто не приходит.

От Кары исходил аромат цитрусов, резкий, но сладкий. Ее волосы прижались к моему лицу, упругие и не такие мягкие, как представлялось. Выпустив меня, она сказала:

– Садитесь же. Вечер просто замечательный.

Взяв меня за руку, она подошла со мной к широкому подоконнику и уселась на него.

– Видели когда-нибудь в Линтонсе такой закат? – спросила она.

Вдалеке в дымке вырисовывались кедры, под которыми успели собраться коровы. Я осторожно примостилась на краешке подоконника, остро чувствуя, как чулочный пояс стискивает мне бедра. И сложила руки на жировой складке, еще больше выросшей у меня на талии. Из открытого окна веяло теплым воздухом, запахом травы.

– Извините за эту жестяную кружку. У нас маловато стаканов, – произнес Питер, передавая напитки мне и Каре. Из-под расклешенных штанин выглядывали ступни – тоже босые.

Кара расположилась во всю длину подоконника: откинувшись спиной к одной стороне рамы, ногами касаясь другой. Легкая ткань желтого платья задралась, обнажая ее колени, но она не стала ничего поправлять.

– Говорят, нам предстоит жаркий август, – сообщила она. – Я не против.

И чокнулась со мной.

– Очень любезно с вашей стороны, что вы меня пригласили на обед, – проговорила я.

Честно говоря, я надеялась, что это побудит их заметить: мол, пора начинать готовить. Но Кара не пошевелилась, а Питер, прислонившийся к стене возле нас, сделал глоток. Я тоже попробовала – и решила, что это, наверное, мартини, очень крепкий. У себя в лондонском доме мы держала в буфете шерри, и, когда мать уже почти не могла вставать с постели, я иногда прикладывалась к этой бутылочке, чтобы укрепиться духом перед тем, как снова взяться за обязанности сиделки, и после их исполнения – в качестве компенсации или вознаграждения, когда я, выходя из спальни, ретировалась на кухню.

– Надо нам было гораздо раньше заманить вас вниз, – заметил Питер.

– Обожаю солнце, – произнесла Кара. – Когда оно греет кожу.

Вытянув шею, она запрокинула голову. Голос у нее был как у дамы из высшего общества (я решила, что она когда-то закончила английскую школу для девочек), но в нем пробивалось что-то еще. Передо мной была какая-то другая Кара, не та, которую я мысленно соткала из всего, что мельком видела. Та была итальянка, католичка, темпераментная, вечно готовая ввязаться в спор. А эта ленивая, томная женщина явно не беспокоилась о том, что о ней подумают.

– Да, – отозвалась я и сделала еще один маленький глоток, пытаясь придумать какую-нибудь тему для разговора.

Кара начала что-то говорить, когда я произнесла: «Я думала, вы итальянка» – и тут же поняла, что уже сказала ей об этом. Я снова выпила, чтобы спрятать лицо, радуясь, что кружки такие большие.

– Я выросла в Ирландии, – ответила Кара. – В англо-ирландской семье. Питер устроил мне уроки итальянского. Такой красивый язык, правда? Но я в нем не очень-то преуспела. Мне дается только акцент.

– И ругательства, – добавил Питер, подмигивая и доставая из кармана рубашки пачку сигарет. – Но…

– Но у меня не очень получается нормальная беседа, – закончила она за него, улыбаясь.

Питер губами вытащил сигарету, щелкнул серебристой зажигалкой.

– А я ни на каких языках не говорю, – призналась я.

– Как насчет английского? – с улыбкой спросил Питер.

– Ну да. Английский. Конечно. – Я опустила глаза.

Кара вынула сигарету у него изо рта. Он протянул мне пачку, и я покачала головой:

– Нет, спасибо. Я не курю.

– Ужасная привычка, – заметила Кара.

– Я тоже не говорю ни на каких иностранных языках, – объявил Питер, сглаживая мое смущение.

Он зажег еще одну сигарету, для себя, и некоторое время оба молча курили. Казалось, эта тишина их совсем не беспокоит.

– А вы здесь давно? Я имею в виду – в Англии? – спросила я.

– Только что приехали, – ответила Кара. – Мы четыре с половиной года провели в Шотландии.

– В Шотландии? – переспросила я в то же время, как Питер начал:

– Ну, это было уже после того, как…

– Да, в Шотландии, – сказала Кара.

– Замечательно, – отозвалась я. – Простите. После того, как?..

Мне хотелось выйти из комнаты, снова постучаться и начать все сызнова.

– Ну, вы знаете… – протянул он.

Я не знала. Я вообще потеряла нить беседы.

Питер, все так же прислоняясь к стене, с сигаретой в углу рта, сощурившись от дыма, запустил пальцы Каре в волосы, поближе к коже, и стал вытягивать одну прядь за другой, а она смотрела в окно. Казалось, они так любят друг друга. Я старалась как-то осмыслить увиденное утром в церкви, крики, которые доносились из этих комнат, всхлипы Кары в ванной, которые я подсмотрела через глазок, и предупреждение Виктора. Но все эти впечатления подавляла реальность перед моими глазами.

– И вот мы здесь, в Линтонсе, – объявила Кара. – Сидим на подоконнике, знакомимся с новой соседкой.

Она закинула руку к затылку, Питер взял ее, сжал, выпустил.

– И вы тоже, – добавила Кара.

– Я тоже? – переспросила я.

– И вы тоже здесь – приехали изучать сады. – Она изогнулась, чтобы посмотреть на Питера, который уже отделился от стены и теперь шел через комнату в кухонный уголок. – Ты ведь мне сам об этом рассказал, Питер?

– Извините, да. – Мой собственный голос мешал мне, точно эхо в телефонной линии. – Я пишу отчет о причудливых постройках и другой садовой архитектуре. Для мистера Либермана.

– Отчет? – Питер потушил наполовину выкуренную сигарету в тарелке, оставленной на столе, и достал из холодильника обшарпанную кастрюлю. – Черт

возьми, а я-то собирался просто набросать на клочке бумаги несколько абзацев насчет этого дома. Смотрите не переплюньте меня. – Он указал на меня пальцем и наполнил свою жестяную кружку из кастрюли.

– Господи, да я и не захотела бы, – отозвалась я. – То есть…

Я поерзала на подоконнике, и жесткое белье скрипнуло. Громкий неловкий звук, который никто из нас не стал комментировать.

– Фрэнсис, – проговорила Кара, – он вас дразнит. – Засмеявшись, она поменяла положение ног, и я уловила проблеск снежно-белого бедра. – Питер над всем издевается. Вам придется к этому привыкнуть.

Я тут же поняла тайный смысл ее слов: она уже решила, что мы будем чаще видеться, они уже планируют еще раз пригласить меня в эти комнаты. Может, мы даже подружимся. Может, это так и делается.

Питер вернулся к окну, держа в одной руке кастрюлю, а в другой – свою кружку.

– Верно я говорю? Вечно дразнишься, – повторила она, улыбаясь ему, задрав подбородок.

Он изогнулся в поясе, расставив руки, точно актер, вышедший на поклоны. Держа кружку и кастрюлю в горизонтальном положении, он поцеловал ее в губы – долгим, глубоким поцелуем. Меня зачаровывало зрелище этой пары. Когда они оторвались друг от друга, глаза Кары оставались закрыты, словно она хотела, чтобы поцелуй продолжался, но Питер выпрямился, и я поймала его взгляд, прежде чем опустила глаза на свою кружку, удивляясь, что она пуста. Мне показалось, что он посмотрел на меня, как мужчина смотрит на женщину, не так, как смотрят на дочь, или студентку, или обладательницу читательского билета, или сочинительницу мало кому известных исторических статеек. И мне это понравилось.

– Еще мартини, Фрэнсис? – Питер приподнял кастрюлю и налил мне в кружку немного жидкости. – До завтра не достоит – мартини очень быстро портится.

– Правда?

Питер подмигнул, и Кара сделала большие глаза. Ей он тоже щедро плеснул мартини.

– Если серьезно, я не думаю, что Либерман ждет многого. Хватит нескольких слов о положении вещей. Вам уже удалось добраться до моста?

– Удалось. – И меня снова охватило разочарование. – К сожалению, мне не показалось, что это нечто особенное. Хотя его трудно разглядеть, там столько всего наросло.

– А на что вы рассчитывали? Вы же не ожидали увидеть тут палладианский или вроде того?

Опустив голову, я сделала глоток.

– Нет-нет, – ответила я. – Не ожидала. Я просто надеялась – это будет что-то изящное.

– А в нем даже изящества нет? – поинтересовался он. – Бог ты мой.

– Ну… я бы сказала, что он все-таки милый, в таком… буколическом духе.

– Может быть, о нем что-то есть в библиотеке, – заметил Питер. – Я толком не знаю, что там за книги. Не разбирался с ними.

– А что, в Линтонсе есть библиотека? – воодушевилась я.

– Юго-западный угол, первый этаж. Там все сильно попорчено водой, да и ценные экземпляры наверняка растащили, но вдруг вы найдете упоминания о нем в тех книгах, что остались.

– Надо бы тебе устроить для Фрэнсис экскурсию по дому, – предложила Кара.

– Если вы не возражаете, Фрэнсис, – бросил Питер через плечо, возвращаясь к холодильнику со своей кастрюлей.

Кара вдруг очень оживилась.

– А Фрэнсис должна показать нам мост. Мы очень хотим его посмотреть. Я еще не была на озере. Питер может слегка окунуться, а я устрою нам пикник. Тут такая духотища в середине дня. Может, завтра и отправимся? Что скажете?

Ее энтузиазм слегка пугал. Я бы хотела в него поверить, но сработала давняя потребность защищать себя от всего потенциально неприятного.

– Боюсь, я не смогу внести такой уж большой вклад в пикник, – призналась я. – Я планировала завтра сходить в город кое-что купить.

– Я уверен, что у нас всего полно, – заявил Питер. – По-моему, Кара туда через день мотается то за одним, то за другим. Мне это влетает в копеечку.

Он распахнул дверцу холодильника, показывая мне полки, забитые продуктами. Их вид напомнил мне, что в животе у меня плещется море алкоголя и что никаких признаков обеда по-прежнему не видать.

– Значит, решено, – провозгласила она. – Ого, смотрите. – Она указала в окно, на террасу под нами. На каменных плитках возлежала уже знакомая мне тощая рыжая кошка. – Это Серафина.

– Эта кошка съела мою рыбу, – пожаловалась я. – Целую камбалу стащила.

– Вряд ли Серафина могла так поступить. Она очень ласковая.

Даже на таком расстоянии я видела, что затылок у кошки почти лысый.

– Вам не кажется, что кошкой быть очень славно? – проговорила Кара. – Не нужно думать о готовке, о счастье, о том, что случится завтра. Ходишь куда тебе вздумается. Ни перед кем не отчитываешься.

Меня как-то не убедили эти доводы. Вряд ли все так просто: перед тобой не всегда окажется камбала, когда захочется есть. Но я издала тихий звук, означавший согласие.

– У нас был рыжий кот, когда мы жили в Ирландии, – продолжала Кара. – Хотя скорее это был кот Питера.

Я глянула на Питера, который шарил в пакетах с едой, составленных в коробку у плиты.

– Питеру нравилось, когда тот спал у нас в кровати, вытягиваясь между нами, как пушистый человечек.

Мне это не показалось гигиеничным.

– Меня это так злило – кот в постели. Хоть я его и обожала.

– Потому что блохи? – уточнила я.

– Блох у него не было. Хороший чистый кот. Не знаю, почему я так раздражалась. Потому что я хотела быть в постели наедине с Питером, потому что я не могла любить этого кота, как тому хотелось, или потому, что он отличался от других котов. Бывало, я выкидывала его из кровати, и он делал такую морду, что я чувствовала себя виноватой. Они всегда хотят одного. Да и все мы всегда хотим одного. Посмотри на меня, посмотри на меня, люби меня, люби меня. – Она негромко рассмеялась. – Серафина! Серафина! – позвала она в окно. Но кошка даже головы не подняла.

– А что с ним случилось?

– С кем?

– С вашим котом.

Она задумалась.

– В один прекрасный день он исчез. Наверное, он был бродячий.

– Дикий кот? Так он не был домашним?

– Домашним? Ну да, наверное, был. Но он мог уйти, когда ему заблагорассудится.

– Вы, должно быть, очень по нему скучали, – посочувствовала я.

Кара отвернулась от окна и громко произнесла:

– А теперь, Фрэнсис, я хочу, чтобы вы все нам рассказали.

– Все?

Я слишком быстро повернула голову, и комната поплыла у меня перед глазами. Отхлебнув еще мартини, который теперь казался мне очень вкусным, я подумала о том, что лучше бы пить помедленнее и что интересно, когда же они начнут готовить обед, но со следующим глотком это перестало казаться важным.

– Про вас, – пояснила она. – Чем вы любите заниматься, кто ваши родители, где вы живете. Рассказывайте все.

– Вы ведь жили в Лондоне? – вставил Питер из кухонного уголка.

Оба смотрели на меня, ожидая ответа.

– Да, – сказала я. – С матерью. Она… она скончалась в прошлом месяце. – Я прикоснулась к медальону, висящему на шее, и материнский бюстгальтер впился мне в кожу.

– Мне очень жаль, – отозвался Питер. Его руки поднялись и опустились.

– Я какое-то время за ней ухаживала.

– Вам, наверное, было очень тяжело, – заметила Кара.

– А ваш отец? – спросил Питер.

Кто-нибудь когда-нибудь так интересовался моей жизнью?

– Он ушел от нее… от нас. Когда мне было десять лет. Ушел к другой. Мы не поддерживали связь. Я вообще его с тех пор не видела.

Я когда-нибудь кому-нибудь столько рассказывала о себе?

– Ох, Фрэнсис, – проговорила Кара, беря меня за руку выше запястья. – Наверное, это было ужасно. Я знаю, что такое потерять обоих родителей.

В глазах у меня все стало расплываться – может, от спиртного, а может, от их сочувствия.

– Не надо нам было спрашивать, – произнесла она, хотя все вопросы задавал только Питер. Она сжала мою руку. – Извините.

– Ваши тоже скончались? – спросила я у нее.

Пожав плечами, она ответила:

– У Питера еще живы, прячутся где-то в Девоне или в Дорсете. – Она зашептала, словно делясь секретом: – По-моему, он их стесняется – или у них щеки чересчур румяные, или они слишком похожи на своих собак.

Я уставилась на нее в недоумении, но тут она рассмеялась, и я поняла, что это была шутка.

Снова присоединившийся к нам Питер проговорил:

– Должен признаться, когда Либерман позвонил, чтобы предложить мне работу, и сказал, что другой человек будет осматривать сады, я ожидал встретить мужчину.

Он протянул мне ладонь с горсточкой арахиса. Мне никто никогда раньше не предлагал арахис на ладони, но я взяла один орешек. Он не убирал руку, и я взяла еще несколько.

– Женское Frances и мужское Francis, – поняла я, – произносятся одинаково. Когда я поступила в Оксфорд, из-за этого получилась большая путаница, едва не вышла очень неловкая ситуация. Хорошо, что в конце концов я оказалась там, где надо.

– Вы учились в Оксфорде? – произнес Питер. – Думаю, не в колледже Святой Хильды? Вы не знали такую Мэллори Свифт?

Прежде чем я успела что-то объяснить, Кара выбросила окурок из окна и встала – одним плавным движением, как Серафина могла бы развернуться после сна.

– Пора мне браться за обед, – объявила она. – Вы наверняка помираете с голоду, Фрэнсис.

Я глотнула еще мартини.

– Н-ну…

Громко рассмеявшись, я посмотрела вниз, на одинокую зеленую маслину, катающуюся по эмалированному дну моей жестяной кружки, словно утонувший глаз с шариком душистого перца вместо зрачка.

Видимо, Питер понял намек Кары, потому что больше не спрашивал ни об Оксфорде, ни о Мэллори Свифт. Вместо этого он примостился возле меня на подоконнике, заняв опустевшее место Кары, и наклонился ко мне. От него пахло кремом после бритья: чистый, свежий аромат. Я вспомнила, как он наклонял голову, когда Кара его брила.

– Похоже, вам пришлось пережить нелегкое время, – заметил он. – Просто наслаждайтесь здешним летом, вместе с Карой и со мной.

Он потянулся и кончиками пальцев дотронулся до тыльной стороны моей кисти. Прикосновение длилось всего миг, но мне показалось, что оно исцелило какую-то косточку в моей руке – словно она была сломана, только вот я этого раньше не осознавала.

* * *

– Я начинаю снизу и постепенно иду наверх, – объяснил Питер, поворачивая вилку в лапше, пока не подцепил и не накрутил две полоски. Он описал вилкой несколько кругов в воздухе, но тальятелле оставались свернутыми. – Там внизу просто лабиринт – всякие чуланы, кладовки, хранилища, бог знает что еще. И все это ниже уровня земли, а значит – никакого естественного освещения. Там же и кухня. И целые акры винных погребов. – Он поднял свою кружку. Мы уже успели перейти от мартини к чему-то другому. – Мне кажется, Либерману наплевать, что там. К счастью.

– Но история Линтонса его наверняка интересует, – заметила я. – Я думала, всем американцам нравится английская история.

В кистях рук и в ступнях у меня гудело алкогольное тепло, щеки тоже пылали. Это было очень приятное ощущение.

– Только если они могут на ней нажиться. – Питер налил еще вина.

– Но ведь вряд ли он надеется продать Линтонс кому-то еще? Мне казалось, он планирует эмигрировать сюда, перестроить дом и сад, – сказала я.

– Либерман? Эмигрировать? – промычал Питер с полным ртом.

– Разве он не поэтому нас нанял? Оценить, что здесь есть. И что нужно сделать до его переезда.

– Чертовски маловероятно. – Питер помахал вилкой. Губы у него лоснились от масла. – Он хочет, чтобы мы обследовали Линтонс, потому что тогда он сможет перевезти к себе через Атлантику всякие интересные штуки. Интересные – то есть ценные. – Вилка двигалась, как дирижерская палочка. – Камины, парадную лестницу, фонтан, оранжерею, целые комнаты – все это распродадут американским коллекционерам. – Он накрутил на зубцы вилки еще лапши. – Насчет моста Либерман, поди, надеялся, что тот окажется палладианским. В таком случае он стоил бы диких денег. – Питер положил тальятелле в рот и дотронулся до губы костяшкой пальца, на которой поблескивало пятнышко лимонного соуса. – Извините, – добавил он, жуя, – я думал, вы понимаете.

Кара водила кончиками пальцев по крупинкам просыпанной на столе соли, словно хотела собрать ее.

– Ну вот, Питер, – сказала она. – Теперь ты расстроил нашу гостью всеми этими разговорами про дом. – Она повернулась ко мне: – Как вам макароны, Фрэнсис?

Она вскинула правую руку над левым плечом, словно потягиваясь, но на пол позади нее упала крошечная щепотка соли.

– Очень вкусно, – пробормотала я, снова берясь за вилку.

– Мне присылают муку из одного итальянского магазинчика в Лондоне. Тут, в глуши, невозможно купить хорошие макароны.

– Она просто чудо, а? – Питер сжал ее ладонь своей. – Она сама научилась готовить, по книгам.

– Еще был Дермод, – добавила она. – Он научил меня основам. Я спросила тут в местной бакалее, есть ли у них макароны, и они мне показали жестянки с какими-то макаронными буквами в томатном соусе. В Глазго я могла всегда достать все итальянское. Ах, это мороженое. Помнишь мороженое, Питер? – Она поставила локти на стол. – Я собираюсь каждый месяц заказывать целый продуктовый набор – маслины, пармезан и муку.

Она предложила мне корзинку с последним кусочком хлеба, и я его взяла, хоть и подумала, что это, возможно, невежливо.

– Видите, она дьявольски дорого мне обходится, – улыбнулся Питер.

– Но обеды стоят того, а? – парировала Кара.

– Значит, вы жили в Глазго? – спросила я, подбирая хлебом остатки лимонного соуса на тарелке – так же, как это делали хозяева.

– Какое-то время. А потом в замке над озером, а до этого – еще в одном загородном доме. Господи помилуй, в этом замке стояла жуткая холодина, правда, Питер? Но там, по крайней мере, были кресла, а не только армейские

койки. И несколько бокалов там тоже нашлись. – Она подняла свою жестяную кружку. – Мы хотели снять коттеджик в городе, но…

– В конце концов все упирается в деньги, – произнес Питер.

Кара положила вилку и вытерла рот кухонным полотенцем, которое перед обедом сгребли вместе с прочими вещами, чтобы расчистить на столе пространство. Она встала и собрала тарелки в стопку.

– Все дома, где мы жили, были, в общем, развалинами, – заметил Питер. – А если какие-то не заливало дождями и не вело вкривь и вкось, то их все равно намечали под снос. Как представишь, что мы потеряли, так и хочется зарыдать.

* * *

У них в ванной, после новых порций вина и после того, как я по настоянию Питера впервые в жизни попробовала граппу, я стояла, упершись лбом в холодную стенку и долго, медленно вдыхая. Пол у меня под ногами резко накренился. Я бочком двинулась от двери к раковине, ведя ладонями по стене и понимая, что, если прерву этот контакт, пол снова вздыбится. Склонившись над раковиной, я пустила холодную воду. Сначала кран фыркал и плевался, но потом пошла ровная струя, и тогда я набрала полные пригоршни воды и опустила лицо в этот маленький бассейн. Мне стало немного лучше. Я села на пол, прислонившись затылком к стене и надеясь, что сумею пробраться через гостиную Кары и Питера, подняться по лестнице наверх и достичь своей постели, не выставляя себя на посмешище. При мысли о своих комнатах я посмотрела вверх. Потолок ванной комнаты изгибался сводом, на внутренней части которого кто-то изобразил тучи, грозные и прекрасные. Штормовое небо, клубящееся в огромной чайной чашке. Серые дымные завитки концентрическими кругами расходились из черного центра, словно здесь что-то взорвалось, и точкой детонации был стеклянный глаз посередине – который смотрел вниз на эту комнату, на меня, пробега?л по периметру и возвращался обратно.

Кара меня здесь и нашла – с головой над унитазом, извергающей изо рта непереваренные макароны и какую-то мерзкую красную жижу. Меня рвало так сильно, что я даже не ощущала смущения. Она собрала мои волосы в пучок, отведя их от лица, и держала так, потирая мне спину, пока меня выворачивало.

Когда я смогла сесть, она протянула мне холодное влажное полотенце и стакан воды. Все та же Кара помогла мне встать и провела через их пустую комнату (Питер, видимо, уже лег спать) обратно по коридору, через дверь, обитую сукном, и я без конца извинялась, а она просила меня не переживать и говорила, что в следующий раз обязательно заставит меня съесть побольше, приготовит еду пораньше. Она усадила меня на мою кровать, сняла с меня туфли и попыталась расстегнуть на мне платье, но я замахала на нее руками, поблагодарила и сказала, что справлюсь. Я не так сильно напилась, чтобы забыть, что на мне белье матери.

Утром я проснулась, ощущая, как пересох у меня язык, а стоило мне повернуть голову – и где-то за глазами вспыхивала боль. Позже меня окончательно разбудил какой-то шум за дверью, ведущей ко мне на чердак, и когда я достаточно пришла в себя, чтобы решиться открыть ее, то увидела под дверью конверт, на котором чернилами, с изысканными завитушками, было написано: «Фрэнсис». Я сохранила лежавшую внутри записку – спрятала ее в карман одного из своих чемоданов. Если бы меня спросили, почему я это сделала, я могла бы ответить, что это первое в моей жизни письмо от друга. Но при этом я имела бы в виду, что это письмо от моего первого настоящего друга.

Дорогая Фрэнсис, Питер передает свои извинения и надеется, что вы не держите на него зла за вчерашний вечер. Пожалуйста, ради всего святого, не делайте ничего поспешного. Я могу себе представить, как вам сейчас нехорошо. Просто побудьте немного в постели.

Ваша Кара.

Я снова заглянула в конверт. На дне болтались две белые таблетки, и на каждой было выбито: «Аспирин».

6

Я запила водой таблетки, которые прислала Кара, и легла обратно в постель, поступив так впервые с тех пор, как в детстве однажды заболела ангиной.

Видимо, я заснула, потому что во сне кто-то меня позвал, и потом сновидение ускользнуло. Я открыла глаза, но голос остался: Кара напевала мое имя. Я выбралась из постели и увидела, что под моим окном высовывается ее голова, улыбающееся лицо смотрит вверх. Она снова сидела боком на широком подоконнике, так же прижавшись ступнями к деревянной раме окна. У меня внутри все перевернулось, когда я увидела угол, под которым она изогнулась, и в который раз поняла, как высоко оттуда падать.

– Вам лучше? – поинтересовалась она, наклоняя голову и поднимая брови. Волосы ее были обернуты полосой синей ткани наподобие тюрбана, что подчеркивало ее скулы. В таком виде она показалась мне совершенно очаровательной: воробей или голубка, а я – простая цесарка. – Хотите пообедать? Я подготовила все к пикнику. Мы надеялись, что вы нам покажете мост.

Моя мутная голова отреагировала на это далеко не сразу.

– Мост? – переспросила я, глядя вниз. – А который час?

– Часа два. Или три. Хотя, надо сказать, вы не очень-то хорошо выглядите, Фрэнсис. Мы можем пойти одни.

– Дайте мне десять минут.

Я отступила в комнату, соображая, что мне лучше надеть, думая о материнском белье, которое придаст талию даже толстой лесной птице.

– Надеюсь, вы проголодались, – окликнула меня Кара.

Я снова высунула из окна голову и плечи:

– Помираю с голоду.

Но она уже исчезла.

В ванной я почистила зубы и умылась, а когда вернулась в спальню, то увидела на подоконнике открытого окна лежащую на боку мышь. Бусинка ее глаза поблескивала, бурая шерстка, напоминающая твид, оставалась безупречно чистой, нигде ни единого следа крови, но мышь была дохлая. Две-три минуты назад, когда я говорила с Карой, выглядывая из этого окна, мыши тут не было, не могло быть, ведь я же опиралась на подоконник и смотрела вниз, верно? Может, Серафина каким-то образом пробралась сюда, пока я ходила за конвертом? Я посмотрела под кроватью и в ванной, но кошки там не оказалось, а все прочие двери на чердаке были закрыты. Я вернулась к мыши, и затылок пронзило ужасом, который не имел никакого отношения к этому печальному зрелищу, к этому мертвому тельцу. Ужас появился при мысли о том, что кто-то нарочно положил ее сюда – чтобы я ее тут нашла. Моя рука нашарила материнский медальон, висящий на цепочке у меня на шее. Потом я подобрала одну из туфель и спихнула ею мышь с подоконника, надеясь, что дальше с ней управится Серафина.

* * *

Я шла первой – мимо ниссеновских бараков, сквозь рододендроны и дальше, по ступеням, ведущим к озеру. Вода, поблескивавшая между стволами и кустами, так и манила к себе. А когда мы к ней приблизились, открылся изумительный вид на водный простор: лазурные края и отраженное в середине голубое небо. Я хотела, чтобы Питер с Карой постояли тут, восхищаясь этой красотой, но Питер спросил:

– Ну, где же этот мост?

И я повела их через деревья влево, пока мы не вышли к просвету, откуда виднелся мост, заросший зеленью: лишь две из его арок оказались свободны от растений.

– О, да он очень милый, – произнес Питер.

И я почувствовала себя так, словно меня уговорили показать свой рисунок, насчет качества которого я не совсем была уверена, и объявили, что получилось неплохо. Меня вдруг охватила гордость, и я подумала, что это и в самом деле очень славный мостик.

– Нам придется убрать кое-какой подлесок, чтобы нормально на него посмотреть, но думаю, что это действительно кое-что любопытное.

– Правда? – спросила я.

– Ведь первоначальный дом построили году в тысяча семьсот сороковом?

– В семьсот сорок пятом, – уточнила я.

– Нам понадобится провести кое-какие обмеры.

– Конечно. – Я старалась, чтобы мой голос звучал буднично.

– Что-то достойное? – спросила Кара, убирая болтающиеся концы тюрбана, который она так и не сняла.

– Ну, – произнес Питер, – Фрэнсис должна его увидеть.

– Мне кажется, он немного похож на палладианский мост в Стоурхеде, – пояснила я. – Но если бы он был палладианский или просто достаточно интересный, его бы упомянули в Певзнере или в других источниках?

– О-о, – сказал Питер. – Вы искали Линтонс в Певзнере, да?

– А вы разве не искали?

– Честно говоря, нет, – ответил Питер, смущенно посмеиваясь. – Наверное, следовало бы, но Певзнер всегда так негативно на все смотрит. Я предпочитаю элемент первооткрывательства, когда речь идет об архитектуре.

– Ну да, может быть, – промямлила я, неуверенная, считает ли он мост чем-то важным.

Но к тому времени мы уже добрались до сооружения и прошли гуськом по траве, где я совсем недавно прибила крапиву. В центре небольшая секция балюстрады, доходившей нам до пояса, оказалась свободна от растений, и мы расположились

там, чтобы полюбоваться озером. От блеска солнца на воде глаза у меня резало – предвестие головной боли.

– Вы никогда не задумывались о тех, кто здесь жил до нас? – спросила Кара. – Слуги, садовники, аристократические семьи? Дети прыгали в озеро с этого моста в такой же день, как сегодня, в такой же жаркий и безветренный, только мост тогда был новый. Любопытно, какими они стали, когда выросли? Что с ними случилось?

– Все умирают, Кара, – мягко заметил Питер, словно впервые сообщая ей эту неприятную весть.

Я подумала о Доротее Линтон, похороненной на церковном кладбище: церемония, на которой присутствовали только недовольный викарий и могильщик. И о матери я тоже, конечно, подумала.

– А что потом? – спросила Кара. Может быть, она ему уже сто раз задавала этот вопрос – и каждый раз надеялась получить какой-то другой ответ.

– Ничего, – ответил он, и она отвернулась от него, сделав вид, что ей просто захотелось всмотреться в даль, туда, где озеро сужается. – Мертвые – они и есть мертвые, – продолжал он негромко, раскрыв ладони перед собой. – Никакого рая, никакого ада, никаких призраков. Если повезет, нас еще, может быть, будут помнить одно-два поколения, а потом – всё. Ну и отлично.

– И ты правда в это веришь? – спросила Кара, по-прежнему не глядя на него.

– Ты же знаешь, что да. А если нам не повезет, мы попадем в учебник истории, но тогда это будем не мы, а чье-то измышление о нас, чужая интерпретация. Кто мы такие – разве возможно об этом рассказать целиком и полностью? Все это только в наших головах. И в памяти тех, кто нас любил. – Он помолчал, словно ожидая ответа. – Кара? – окликнул он ее.

На кухне нашего ноттинг-хиллского дома за несколько месяцев до того, как мне исполнилось десять, мать сказала мне: «Твой отец верит, что, когда мы умрем, нас зароют в землю, мы сгнием и превратимся в траву, а потом придут коровы и съедят нас». Я знала, что за моей спиной стоит отец. И он молчал. Тогда, в этой комнате, между родителями чувствовалось какое-то напряжение, они вели

какую-то незримую битву, которую я не понимала. Мне хотелось, чтобы он сказал, что ее слова неправда, что он в это не верит, потому что так не бывает. «А вот я верю, – продолжала мать, – что если мы ведем себя хорошо, то попадаем на небо». Отчетливо представившиеся мне коровы, трава, трупы оказались для меня слишком жутким видением. Я заплакала. «А мне во что верить?» – спросила я. Уже не помню, ответила ли она – и если ответила, то что именно.

– Я была бы рада, если бы меня забыли через поколение-другое, – сказала я Каре с Питером, желая заполнить возникшую паузу. – Правда, со мной это, скорее всего, произойдет гораздо раньше. – И я рассмеялась.

– Ну ладно, – произнесла Кара, поворачиваясь и с явным усилием улыбаясь. – Нам надо поесть.

– Сначала надо поплавать, – заявил Питер.

– Поплавать? – Я перевела взгляд с него на нее. – Я не знала, что мы собираемся плавать. Я не захватила купальник. – Материнский чулочный пояс сдавливал меня.

– Мы с Фрэнсис просто посмотрим, – сказала Кара. – Я так толком и не научилась.

Прямо посреди моста Питер начал стаскивать с себя одежду. Кара засмеялась:

– Скромностью не отличается, да? Нет в тебе скромности, а?

Под брюками у него обнаружились голубые плавки. Тело у него было поджарое, узкие бедра, широкие плечи. Пучки светлых волос торчали из-под мышек, такого же цвета волоски слегка покрывали грудь. Он взобрался на каменную балюстраду и встал, сведя ноги вместе. Я хотела предупредить его, что под поверхностью могут скрываться затопленные опоры, вилы с острыми зубьями, куски ржавого металла – куча всего, что способно зацепить кожу и разорвать тело, – но он уже нырнул и исчез среди лилий и рдеста. На мгновение стало видно, как он плывет под поверхностью воды, точно какое-то животное подо льдом.

Опершись на теплый камень, мы с Карой смотрели, как он вынырнул посреди озера и поплыл дальше: его голова и плечи порождали рябь на отраженном небе и облаках, – а мы прикрыли рукой глаза, чтобы не слепило солнце.

– Как вы с ним познакомились? – спросила я.

– А, в Ирландии, в шестьдесят третьем, – ответила Кара. – Мне был двадцать один год. Сейчас кажется, что это было давным-давно. Просто не верится, что всего шесть лет прошло. Я мечтала только об одном – выбраться оттуда, удрать в Италию. Вообще, ирландцы всегда уезжают из Ирландии, правда? По той или иной причине. Однажды я добралась аж до Дублина. – Она засмеялась какому-то своему воспоминанию.

– Это далеко от того места, где вы жили?

– Около сотни миль. Казалось, я попала на другую планету. Я села на автобус в Томастауне как Кара Калейс, переоделась, накрасила губы и стала Карой Калейчи. Я училась итальянскому по отцовскому словарю, но, как вчера уже сказала, говорить толком не могла. Помню, как, уезжая в Дублин, смотрела в окно автобуса, прижавшись лбом к стеклу, на тощих мужчин возле безрадостных пабов, на тощих женщин с усталыми лицами, развешивающих белье. Я не хотела стать одной из них.

Она повернулась спиной к озеру, и я последовала ее примеру. Я так и видела ее: трагическая фигура, пассажирка автобуса, мечтающая о лучшей жизни. Я не перебивала, давая ей выговориться. Согласные звуки у нее делались все более мягкими – все более ирландскими. Почему-то я знала, что у нее куда более интересная история, чем у меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Багатель – старинная разновидность бильярда, где шар отскакивает от воткнутых в игровое поле булавок. – Здесь и далее прим. пер.

2

Имеется в виду Джеймс Уайетт (1746–1813) – английский архитектор, работавший в стиле неоклассицизма и неоготики.

3

Скальол – искусственный мрамор.

4

Итальянский архитектор Андреа Палладио (1508–1580) прославился благодаря умению сочетать красоту с практичностью (и относительной дешевизной материалов). Оказал большое влияние на европейскую архитектуру XVI–XVIII вв.

5

Кессон – художественно оформленное углубление правильной геометрической формы на потолках, а также на внутренних поверхностях арок и сводов, облегчающее их и улучшающее акустику помещений.

6

Хэтти Карнеги (1886–1956) – американский модельер. В основном занималась организацией бизнеса в области моды (не умея ни кроить, ни рисовать модели). В 1950 году разработала дизайн женской формы для армии США. Ее работы называли «воплощением типично американского стиля».

7

Имеется в виду многотомная серия «Здания Англии», начатая в 1940-е годы британским историком и искусствоведом Николаусом Певзнером (1902–1983) и позже названная «Архитектурным путеводителем Певзнера».

8

Ниссеновский барак (по имени автора конструкции – подполковника П. Ниссена) – легкое разборное сводчатое сооружение из гофрированного железа. Во время Первой мировой войны такие бараки использовались в качестве временной армейской казармы или хозяйственной постройки.

9

Челсийская булочка – сдоба с изюмом или другими сухофруктами.

10

Гизант – надгробный памятник в виде лежащей фигуры.

11

Тальятелле в лимонном соусе. Тальятелле – длинная плоская яичная лапша, скрученная крупными клубками.

12

Детский чай – традиционная трапеза в обеспеченных английских домах начала XX века. Ближе к вечеру родители (как правило, почти не видевшиеся с детьми) приходили в детскую, где подавалась сравнительно простая еда – сэндвичи, вареные яйца, хлеб с вареньем, иногда пудинг и т. п. При этом обычно пили не чай, а молоко.

13

Гарибальдийское печенье – сорт печенья с изюмом. В 1861 году, на волне популярности Гарибальди в Великобритании (в то время он как раз завладел Неаполем и Сицилией), такое печенье стала выпускать лондонская компания «Пик Фрин». Оно до сих пор является одним из любимых лакомств британцев.

Купить: https://tellnovel.com/ru/fuller_kler/gor-kiy-apel-sin

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить